

Н. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

Н. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1955

Текст печатается по изданию:
„Н. Г. Гарин-Михайловский.
Избранные сочинения".
Гослитиздат, М., 1950.

ПОД ВЕЧЕР

Очерк

В гостиной с мягкой мебелью сидело целое общество.

В отворенные двери виднелись большая терраса и спускавшийся к реке сад.

— Если Вася не разобьет барометра,— проговорила молодая девушка с веселыми серыми глазами, сестра владельца имения, Вера Николаевна Плетнева,— я не я буду. Каждую минуту: тук-тук-тук... тук-тук-тук...

В комнату вбежал пятилетний стройный, живой мальчик с босыми тоненькими ножками. Он на мгновение остановился, показал всем свое покрасневшее личико, сверкнул возбужденными, полными жизни глазами и, заметив отца за любимым занятием, проговорил просительно, но уверенно:

— Папа, и я...

Отец поднял общего баловня. Мальчик, сделавшись вдруг сосредоточенным и серьезным, осторожно постучал пальчиком по стеклу барометра.

— Володя, ты покрепче, кулачком,— посоветовала молодая тетка его и весело рассмеялась.

— Ну, что, будет дождь? — спросил отец, опуская его.

— Будет! — быстро и весело, болтнув ногами по воздуху, прежде чем стать на пол, вскрикнул мальчик.

— Молодец мужчина! Теперь иди к тетке и покажи ей язык.

— Ва-а-ся! — протянула жена его, Марья Александровна, оставляя работу и ласково любуясь на мужа.

— Мило, очень мило,— проговорила сестра.— Как ты думаешь, Володя, кто умней — папа или ты?

— Папа,— ответил мальчик.

— А я думаю, что ты,— сказала Вера Николаевна.

Мальчик неопределенно уставился на тетку.

— Володя, а кто умнее — ты или тетя Вера? — спросил Василий Николаевич.

Мальчик пытливо посмотрел на тетку и, сверкнув глазами, лукаво ответил:

— Не знаю.

Все рассмеялись.

— Ах ты, скверный мальчик! — вскрикнула тетка, делая вид, что хочет схватить его. Но мальчик, взвизгнув и сверкнув еще раз на всех своими смеющимися глазенками, быстро исчез из комнаты.

Смеялся Василий Николаевич, смеялся, как-то весь сморщившись, доктор Павел Андреевич Лесовский, точно давясь своим: «хи-хи-хи», улыбалась Марья Александровна своей обычной улыбкой, выражавшей все ее душевное спокойствие и удовлетворение. Улыбалась и Вера Николаевна, маскируя желание чем-нибудь отпарировать удар.

— Я ничего... я ничего... ха-ха! Устами младенцев... ха-ха!

— Вася, ну что ты пристал к Вере? — спокойным, приятным, немного певучим голосом проговорила Марья Александровна.

— Оставь его,— горячо проговорила Вера Николаевна,— он без барометра и меня жить не может. Не барометр, так я...

— Ха-ха! — сконфуженно пустил Василий Николаевич и, смазав лицо себе рукой, снова машинально подошел к барометру.

— Ну, вот...

— Ха-ха! — опять рассмеялся Василий Николаевич и, махнув рукой, проговорил: «Ну вас», и вышел на террасу.

— А мы тоже пойдем? — обратилась ко всем Марья Александровна.

Все трое вышли на террасу.

Марья Александровна втянула в себя свежий вечерний аромат поливаемых цветов, прищурилась на заходящее солнце и, проговорив: «хорошо», села в удобное гнутое кресло. Доктор подсел на ступеньки террасы, а Вера Николаевна остановилась в дверях и, то поднимаясь на нос-

ках, то снова опускаясь, не знала, что лучше: присесть или уйти.

— Ну, что еще? — спросил Василий Николаевич, останавливаясь перед ней.

Вера Николаевна скользнула по нем глазами и проговорила:

— Ну, теперь к барометру.

— Ха-ха! — рассмеялся, круто повернувшись от нее, Василий Николаевич и стал шагать по террасе.

— Так, как сказал Володя...

— Да что ты радуешься на Володю,— быстро проговорила сестра, садясь в кресло подальше.— Ты знаешь, что Володя в меня.

— Конечно! — фыркнул Василий Николаевич.

— Ну, пожалуйста,— проговорила Марья Александровна, не отрываясь от шитья,— Володя в дедушку

— И я в дедушку!

— В моего дедушку,— спокойно проговорила Марья Александровна и положила работу на колени.

В то время, как все лицо ее оставалось серьезным, глаза ее весело, добродушно, лукаво смеялись, смотря на Веру Николаевну. Этот неожиданный сюрприз, комичный контраст тонов обеих, вызвал дружный смех.

Веселее всех смеялась сама Вера Николаевна, как-то избалованно откинувшись на спинку кресла.

Марья Александровна продолжала смеяться больше глазами, красивыми, ясными, спокойными, с тем выражением мягкой силы и безмятежной тишины, которые так манят к себе, так незаметно втягивают в сферу своего удовлетворения, так добровольно подчиняют себе мягкой силой любви.

— Ну, хоть и в твоего дедушку,— помирилась Вера Николаевна,— а все-таки не в Васю...

Марья Александровна опять принялась за шитье. Работа доставляла ей видимое наслаждение, в ней она как будто и черпала свою тихую, ясную свежесть, свой веселый юмор и добродушие. Оторви ее от этой деревенской обстановки, перенеси в городскую обычной светской жизни — и, может быть, ее манеру назвали бы простоватой, а сама она, заняв место где-нибудь в стороне от главного течения, была бы не опасной конкуренткой светским

дамам. Но здесь она была царица, здесь она властно подчиняла все своему влиянию, в ней отражался и чувствовался весь этот тихий, ясный догорающий день. В Вере Николаевне, наоборот, чувствовался городской житель, томящийся и скучающий.

— Конечно,— продолжала Вера Николаевна, отвечая на фырканье Василия Николаевича,— ты комок нервов, вот тот барометр, а Володя живой, здоровый мальчик.

— Комок нервов...— опять фыркнул как-то про себя Василий Николаевич, продолжая ходить по террасе.

— Ну, ты только не сглазь, пожалуйста,— проговорила добродушно-певуче Марья Александровна.

— О! — весело и в то же время с некоторым испугом быстро вскочила Вера Николаевна.— Чур-чур, наше место свято, я лучше играть пойду.

— То-то,— усмехнулся ей вдогонку Василий Николаевич.

Немного погодя из отворенных окон столовой полилась тихая, нежная, легкая музыка.

— Хорошо играет Вера Николаевна,— проговорил доктор.

— Хорошо,— проговорил Василий Николаевич и остановился.

Он хотел было пожаловаться на нее, что она таланты в землю зарывает, не работает серьезно и петь могла бы: голос есть. Но вместо этого только провел рукой по лицу, покосился на жену и проговорил, осматривая пепельное небо:

— Нет, надо, надо дождика.

Он подошел к доктору, остановился и весело продолжал:

— А по-вашему, удобрение? А? Вот как высушит все...— Василий Николаевич поборол неприятное чувство, поднявшееся было в нем при этом.— Шутка сказать, месяц нет дождей, а жарища-то... Какое тут удобрение?

— И Иван Иванович,— проговорил доктор,— пищит: «Я, изволите видеть, докладывал вам, что по нашим местам не в земле, а в небе сила. Земля наша, изволите ли видеть, хлебодарная, ей не навоз, ей влага-с нужна, а силы в ней конца нет!» А у самого хлеб уже сгорел; а я вот приехал из Колонок,— у немцев хлеб еще зеленый.

Вот вам и удобрение. Если вы, люди образованные, отрицаете навоз, то чего ж от этих-то спрашивать? — мотнул доктор на речку, из-за которой в зеленой листве сада просвечивался ряд серых, соломой крытых изб.

Василий Николаевич пожал плечами, отошел, опять подошел, посмотрел на доктора и фыркнул.

— Те уж окончательно уперлись,— продолжал доктор,— «не примат навозу наша земля, и баста!» Ну и не дай бог еще недельку не будет дождя. Голод?! — горячился доктор.— Немцы как-никак что-нибудь соберут... цена будет... а они-то как?

Василий Николаевич насупился и нетерпеливо посмотрел на небо.

— Бог даст будет дождичек,— поспешно проговорила Марья Александровна, тоже тревожно взглянув на небо, и, переводя глаза, остановилась на муже, как бы говоря: «Взволнует он тебя». Муж ответил ей мельком взглядом, означающим: «Не взволнует», и, сдвинув брови, зашагал по террасе.

— Ждать, что сами додумаются? — продолжал доктор.— Ждите!..— И, помолчав, продолжал: — Тут организация нужна, система, та система, которой даже начала еще нет, то есть нет даже ясного, хотя бы отвлеченного сознания безвыходности того положения вещей, какое существует. Нет его даже у вас, у людей, ближе других стоящих к делу. Что здесь делается, как в непосильной, нечеловеческой жизни, в бесполезном труде гибнут силы, мы даже знать не хотим; прежде хотя интересовались, а теперь... мы разлюбили эту мужицкую жизнь,— это так скучно! Мы сидим на их шее, как прежде помещики сидели, и еще хуже; что хуже, доказательство то, что прежде мужики имели что-нибудь, а теперь нет у них ничего; но мы, как и прежний помещик, даже и не сознаем этого. Прежде мужик, доведенный до отчаяния, мог прийти и протестовать перед своим барином по крайней мере. Мы избавились и от этого неудобства: все мы в городе и знать ничего не хотим,— какое нам дело, что мужик, чтобы вырвать у природы урожай сам-три, затрачивает силу, могущую дать урожай сам-двадцать? Что такое сам-три, сам-двадцать, когда наш курс хорошо стоит? Все это ерунда, клевета и вовсе не интересно. Интересна политика, последнее слово, понимание его,

интересно, что мы самосознаем себя, интересно и обидно, что нас Запад не признает. Не прежнее ли это доброе время, когда барыня сидит в гостиной и ведет тонкий разговор, а на конюшне...

Доктор остановился.

Василий Николаевич сделал нетерпеливую гримасу, скользнул взглядом по жене, как бы говоря: «зарапортовался», и проговорил про себя:

— Упрекать легко...

— Вас лично никто не упрекает. Лично вы, может быть, делаете и больше, чем можете...

Музыка оборвалась. Вошла Вера Николаевна, обвела скучающими глазами общество и молча, небрежно опустилась в кресло.

— Все спорите? — спросила она доктора.

— Не смею больше...— проговорил повеселевший при появлении Веры Николаевны доктор,— чтоб не огорчать во всяком случае достойного и милейшего хозяина.

Василий Николаевич покосился на доктора и проговорил повеселевшим тоном:

— Чтоб не огорчать? А? — И, улыбаясь, он присел возле доктора.

— Так-то, батюшка мой,— проговорил он, касаясь рукой колена доктора.— А дождика все-таки надо... Хоть бы это и было уроком, но бог уж с ними, с такими уроками. А?

— Вероятно, и будет дождик,— проговорил доктор, всматриваясь в небо.— Вон видите, тучка выплывает.

Василий Николаевич быстро посмотрел по указанию доктора.

На юго-западе, в виде какой-то остроконечной зазубренной вершины, медленно выдвигалась темнофиолетовая тучка.

— А что вы думаете? — встрепенулся Василий Николаевич.— Ведь это из Гнилого угла... Вы не смотрите, что она маленькая... откуда что возьмется... взмоет... гром... ливень... А?

— Бывает,— согласился доктор.

— Двести пудов на десятине?

— Бывает, бывает.

— Ха-ха! — пустил Василий Николаевич и, встав, снова зашагал по террасе.

— Нет, невозможно... мечты какие-то... так, вроде Манилова стал. Мост этакий через пруд... А? Ха-ха!.. Право! Или вот как семинарист в какой-то книге говорит: «Горизонт наш не обширен, до этого лесу и обратно». Ха-ха! Право! Нет, невозможно! Вот только прольет из этой тучки дождь — в Париж! Завтра же еду! Что здесь? Безобразие! Невежество!.. Имение продам, куплю там, как это называется, виллу там, что ли, и буду себе... А?

— Слыхали,— проговорила сестра.— Каждая весна начинается Парижем, а пять лет в Петербург собираются.

— Не рассуждать! Завтра же собираться! Чтоб все было готово!

— Да ты, может, один поедешь,— предложила Марья Александровна,— а то вот с доктором. Право... что вам с нами возиться еще...

— А что, доктор? В самом деле, ну их... Пойдут эти шляпки, картоночки... А нам что надо? А? Право, отлично! А они пусть хозяйничают, распоряжаются, деньги копят. А мы приедем, отчет с них снимем. Останемся довольны, расскажем им... чего им еще надо?

— Да главное, сами же предлагают,— проговорил доктор.

— Позвольте-с, вы не поняли нас,— протянула Марья Александровна,— мы тоже поедем, только не с вами.

— Что-о? Это куда же?

— Мы найдем куда... Мы куда поедем? — обратилась Марья Александровна к Вере Николаевне, смотря на нее своими смеющимися глазами.

Вера Николаевна, положив голову на спинку кресла, смотрела куда-то вдаль, и мысли ее были далеки от разговора. Она рассеянно ответила:

— В обратную сторону от них...

— А, так вы так? Это вы что ж, к зуавам, что ли?.. Тебе чего?

Последний вопрос, сделанный Василием Николаевичем уже серьезным тоном, относился к подошедшей в это время к ступенькам террасы старухе.

— Федора Елесина хозяйка, батюшка. От Федора к тебе.

Василий Николаевич молча прошел по террасе.

— Возвратился? — спросил он останавливаясь.

— Ась?

— Иди сюда поближе.

И Василий Николаевич опять зашагал.

Старуха тяжело поднялась на ступеньки и остановилась. На вид ей было лет шестьдесят. Старое рыхлое тело ее сгорбилось и отдавало старческой немочью. С какой-то клокочущей машиной в груди, она стояла, плотно прижавши свои руки к бедрам, обтянутым старушечьим пестрядинным сарафаном, и смотрела своими детскими, взволнованными голубыми глазами в мягкие прямые волосы, большой лоб, в длинную бороду, в большие серые глаза хозяина.

— В чем дело?

— Ох, батюшка Василий Николаич, возвратился мой Федор, да не на радость, видно...

Голос старухи оборвался.

Василий Николаевич как-то сразу подобрался, ушел в себя и, машинально проведя рукой по своим редким волосам, сухо, точно досадливо, проговорил:

— Говори же...

Старуха оправилась и уже спокойно продолжала:

— Федор-то мой уже третий день без памяти, батюшка Василий Николаич. Сегодня утречком опамятовался маленько, баит: «Сходи, старуха, ты к Василию Николаичу, не поможет ли опять, как в запрошлом-те лете... скажи, мол, рукописку ему с богомолья принес»,— про икону Святителя Николая, значит. Обещал он тебе, что ли, уж я не знаю?

— Помню, помню... Да как он заболел?

— Господь его знает, батюшка Василий Николаич. Уж с богомолья трудной пришел. В первый-то день все переламывался, в баню сходил, сродники пришли, про святые места описывал, а уж к вечеру-то, видно, и разломило его, и разнедужился он...

— Что ж болит у него?

— Да все, батюшка, на все жалуется. Трудно лежит, так трудно, так трудно, что уж мы и не чаем...

Старуха точно испугалась своих слов, глаза ее широко раскрылись.

— Все мечется, так мечется да стонет, да не в уме говорить стал. Право, батюшка, надо дело говорить... А сегодня опамятовал и баит: «Ох, старуха, костыньки мои болят, все нутро опалило, видно смертынька моя при-

шла!» А я что тут могу?! Помрет он, чего я стану делать? Старая я да больная... сама едва ноженьками ворочаю; кашель душит... избушечка курная... Оставит меня, а на кого оставит, куда я пойду? Детей нет...

Старуха тихо жаловалась. Слезы одна за другой закапали по ее лицу. Наступило молчание. Василий Николаевич подошел к решетке и молча смотрел перед собою.

Солнце совсем село. Красным заревом вспыхнул запад, и розовые полосы потянулись по прозрачной реке. Только к берегу еще резче оттенилась темною голубоватою сталью вода. В воздухе посвежело, и еще сильнее потянуло ароматом цветов. Фиолетовая тучка разрослась, вытянула еще несколько остроконечных вершин и точно застыла. Запахло дождем.

— Стою я вот,— тихо, размеренно продолжала старуха,— батюшка Василий Николаич, перед тобою... и вся тут: нет ничего! Думала, он мои косточки успокоит, не даст в обиду людям, а заместо того мне же его хоронить доводится.

И старуха, захватив рукой кончик передника, прижав его к глазам, тихо, горько заплакала.

Василия Николаевича, стоявшего перед ней, точно ветром опахнуло, и он быстро зашагал по террасе.

— Ну что ж ты живого человека хоронишь,— с болезненной гримасой, как-то тихо, встревоженно проговорил он.

— Ох, помрет, помрет,— тоскливо взвыла старуха, охваченная вдруг страшным предчувствием конца.

— Перестань,— нервно остановил ее Василий Николаевич,— не поможешь же этим.

Он остановился.

— Мы с доктором сейчас приедем. Может, и не так еще страшно.

Он опять замолчал и уж не скоро, как будто про себя, нехотя, тихо проговорил:

— Ну, уж не дай бог чего... не оставим же.

Старуха повалилась в ноги.

— Батюшка мой, Василий Николаевич, ты один у нас, защитник наш, куда без тебя денешься!

— Ах...— нервно заерзал рукой по голове Василий Николаевич.

— Встань, встань, матушка,— проговорила приветливо Марья Александровна.— Барин не любит, чтоб в ноги кланялись. Богу кланяйся.

Старуха медленно встала.

— Ничего, матушка Марья Александровна. Не грех и поклониться и тебе и ему, матушка Марья Александровна.

И старуха опять бултыхнулась в ноги.

— Встань, встань,— как-то испуганно проговорила Марья Александровна.

— Ничего, матушка, ничего,— говорила старуха, вставая,— отцы вы наши.

— Ну, ступай с богом,— мы сейчас приедем.

Старуха еще раз поклонилась и стала тяжело спускаться.

— Лошадь вам? — спросила Марья Александровна и крикнула:

— Саша!

Вошла серьезная, чисто одетая, некрасивая горничная.

— Саша, скорей барину лошадь... Кабриолет вам, что ли?

— Кабриолет,— рассеянно ответил Василий Николаевич.

— А лошадь — Шарика?

— Шарика,— тем же тоном сказал Василий Николаевич.

— Ну, кабриолет и Шарика; поскорей только!

— Сейчас,— серьезно проговорила Саша и скрылась.

Когда Василий Николаевич начинал волноваться, он притихал, делался сдержанным, рассеянным, говорил тихо, медленно и как бы нехотя.

Он беспрестанно проводил рукой по лицу и то останавливался, то опять начинал шагать.

— Нет, право, как это...— начал было он, подавляя охватившее его волнение.

Марья Александровна беспокойно посмотрела на мужа и проговорила:

— Да, может, пустяки еще... у них все смерть... Посмотрит доктор... Два года тому назад так же прибежала...

Василий Николаевич покосился на жену и продолжал молча ходить. Лицо его немного прояснилось.

— Вперед-то к чему волноваться, не стоит,— тем же тоном, рассудительным, мягким и спокойным, продолжала Марья Александровна.

— Право, ты, Вася, хуже той бабы,— проговорила его сестра.— Никто еще не умер, а ты уж отходную запел.

— А? — встрепенулся Василий Николаевич.— Отходную?

Он посмотрел на разраставшуюся все тучу.

— А все живы?.. Нет, уж мужик больно хорош. Ну, едем!

И Василий Николаевич нервно начал застегивать свой чесучовый пиджак на все пуговицы.

— Да ведь не подали еще,— заметила Марья Александровна.

— Подадут, матушка, подадут,— ответил Василий Николаевич.— Увидят, что барин ждет, и поторопятся. Ну, пойдем!

— Да ты что это, мою шляпу надеть хочешь?

Василий Николаевич посмотрел на шляпу жены, которую машинально взял было в руки, добродушно посмотрел на всех, махнул рукой, пустил свое «ха-ха» и, взяв соломенную шляпу, пошел за доктором через столовую на дворовое крыльцо.

— Право, Вася хуже всякой женщины,— проговорила Вера Николаевна.— Это бабушка его так разбаловала.

— Да, уж впечатлительный. Проводим их?

Обе дамы встали, но пошли через сад во двор. Они нашли мужчин стоявшими посреди двора в ожидании лошади. Доктор говорил что-то. Василий Николаевич слушал, ковыряя палкой землю. Его глаза безжизненно, безучастно — признак волнения — смотрели вдаль.

— Ну, говорила я вам, что будете ждать? — протянула Марья Александровна.

Глаза Василия Николаевича приветливо сверкнули.

— Вы чего еще тут? — добродушно-ворчливо проговорил он.— Вас еще недоставало!

— Ну, мы уйдем,— ответила Вера Николаевна.

— Нет уж,— проговорил доктор,— если не для него, так хоть для меня останьтесь.

Доктор рассмеялся и покраснел.

Глаза Марьи Александровны рассмеялись и уставились на Веру Николаевну. Последняя, стоя за спиной доктора, сделала большие глаза и комично заболтала руками.

Василий Николаевич скользнул глазами, едва приметно про себя усмехнулся и повеселевшим голосом проговорил:

— А ведь тучка растет.

— Да, будет, будет дождь,— успокоительно проговорила Марья Александровна.

Кабриолет подали.

— Ну, прощайте вы,— проговорил Василий Николаевич.

— Вы уж его веселого, доктор, привозите с собой.

— Не пускайте! — крикнула Марья Александровна.

— Ни за что не пущу,— ответил, повернувшись к дамам, доктор.— Веревками привяжу.

И доктор показал руками, как он привяжет.

— Доктор, доктор,— крикнула Марья Александровна,— не забудьте кстати к Кислиным... Перед обедом вам говорила, помните?

— Ага, хорошо.

И доктор, повернувшись, сел как следует.

— Там еще что? — спросил Василий Николаевич.

— Замужняя дочь Кислина первый раз рожает... Родила, но что-то неладно.

— Ну вот... Давно неладно?

— Да, кажется, вторые сутки уже.

— Ведь это что ж, скверно?

— Хорошего мало: заражение крови может быть.

— И смерть?

— Да уж...

— Вот оно... А старика не люблю: упрямый эгоист, вечно смущает остальных, но дочка его очень симпатичная. Веселая... такая бойкая... на святках, бывало... оденется в старинный костюм... Они ведь богатые... староверы.. Этакая, знаете, настоящая, как у Маковского... Замуж неудачно ее отдали... Отец потянулся за богатством... Теперь опять у отца живет. Куда же сперва заедем?

— Да прежде заедем, пожалуй, к Кислиным.

Кабриолет остановился у ворот зажиточной, в пять

окон избы. Серый осиновый сруб был сделан из толстых четырех- пятивершковых бревен. На крыше соломы было много, и, аккуратно приглаженная, она лежала, прижатая длинными жердями, маленькими ровными крестиками, сходившимися на коньке. От избы тянулись во двор постройки: кладовая, клетушка, сараи, все это, под одно с крайней крышей крытое соломой, заворачивало под прямым углом и образовало чистый, опрятный дворик. Под сараем виднелись телеги, бороны, плуг, соха, друг на дружку сложенные дровни, маленькие саночки, спинка которых была обита блестками жести.

Доктор пошел в избу, а Плетнев остался в кабриолете. Он видел, как во дворе поднялась суета при появлении доктора, забегали бабы, как доктор вошел в темные сени, как все стихло, как выбежала опрометью старуха Кислина и опрометью же бросилась назад в избу. Ему представилась картина родов, болезненные стоны, он сморщился и сухими, безжизненными глазами стал смотреть во двор. Вон в тех самых санках встретил он ее зимой, катаясь как-то с женой по деревне. Ему представилось ее свежее, бойкое лицо, зарумяненное морозом, карие, точно влажные, искрящиеся глаза, молодой задор их и смелый, в душу идущий взгляд. А теперь, может быть, этот взгляд уже навсегда потухает. В воротах показался доктор.

— Не допускают.

— Как не допускают?

— Не согласны на осмотр. А без осмотра я что же могу сделать?

— Так как же?

Доктор сделал гримасу.

— Уговорить их...

— Да уж уговаривал, старуха и слышать не хочет.

— Вы им говорили, что она умрет?

— Все говорил, не хотят.

— Почему же?

Доктор пожал плечами.

— Недоверие. Бабке, той все позволят.

— Я думаю, это стыдливость...

— Послушайте, какая тут стыдливость.

— Женщина-врач,— проговорил, как мысль, вслух Василий Николаевич.

— Все равно, здесь не в стыдливости сила.

Василий Николаевич ничего не ответил и молча осмотрелся кругом. Заметив точно прятавшегося в конце улицы отца больной, старика Кислина, он, подождав, пока доктор сядет, тронул лошадь и подъехал к нему.

Ответив на низкий поклон мужика, Василий Николаевич проговорил как-то нехотя, не глядя на Кислина:

— Здравствуй, Кислин. Что ж это твои бабы делают?

— А что такое? — будто добродушно спросил Кислин, подняв на Плетнева свои маленькие, холодные, серые глаза. Но, несмотря на этот добродушный вид, чувствовалось во всей фигуре Кислина, его рыжей длинной бороде, которой он мотнул, как козел, какое-то скрытое злое раздражение.

Плетнев покосился на Кислина и лениво, устало проговорил:

— Знаешь же, в чем дело...

И, помолчав, прибавил:

— За что же дочь допускать до смерти?

Кислин уставился в землю.

— Я вот чего вам, Василий Николаич, скажу. Хошь она мне и дочь, а она у меня вȯ где сидит.

Кислин пригнулся и показал на затылок.

— Не мое это дело выходит,— продолжал он,— кто брал, тот и заботься,— я полгода ее пою да кормлю.

— Да ты хочешь, чтобы она жила, или смерти ее хочешь? — брезгливо спросил Плетнев.

— Да господь с ней, пусть живет себе,— кто ж своему детищу смерти хочет? А только я к тому, что не мое это дело выходит, за людей делаю.

— Ну, там за людей не за людей, а сила в том, что осмотреть ее надо. Вот доктор хотел, а твои бабы не допускают его. А не осмотрит, помрет. Ведь что ж тут такое осмотреть? И мою же жену, когда больна была, осматривал доктор.

— Так, так, понимаю... а они не велят, значит? — не то участливо, не то насмешливо спросил Кислин, заглядывая в глаза Плетнева.

Василий Николаевич сдвинул брови.

— Глупо же...

— Знамо, что глупо. Баба она, баба и есть,— проговорил Кислин и почесал свой затылок.

— Тебе бы распорядиться...

— Знамо, распорядиться,— раздумчиво проговорил Кислин, продолжая почесывать затылок.

Наступила долгая пауза.

— Ну, так как же? — спросил Василий Николаевич, все время наблюдая боковым взглядом мужика.

— Да уж, видно, их бабье дело.

— Пусть помирает, значит? — холодно спросил Василий Николаевич.

Глаза Кислина гневно вспыхнули.

— Божья воля... Нет уж, того... не надоть.

Кислин решительно тряхнул бородой и уставился в землю.

Плетнев проглотил сухую слюну.

— Ну что ж, едем? — тоскливо спросил он у доктора.

— Поедем,— как-то сморщившись, отвечал доктор.

Плетнев еще раз покосился на глядевшего все в землю Кислина и повернул лошадь.

— Вот вам, батюшка,— проговорил он, отъехав и обращаясь к доктору.— А?

— Народец!..— вздохнул доктор.

— Каков? Вот тут и поделайте что-нибудь с ними. Дочь, родная дочь? А?

— Да.

— Вот, батюшка... Ну, что ж, к Елесиным?

— Да, к Елесиным.

— Не надоть? — переспросил Плетнев.— Каков гусь? Это отец-то?

— А в какой наковальне и каким молотом надо было бить, чтобы выковать такого отца?

Плетнев сдвинул брови и, помолчав, нехотя проговорил:

— В той самой, где и Федора выбивали, к которому едем. Другой же совсем человек: простота, непосредственность, чистота душевная. И величие какое-то и смирение — ну, вот как в первые века христианства только были... Право... Прелесть, что за человек. Тпру...

Лошадь остановилась перед бедной, потемневшей от времени, покосившейся избой.

— А вы что ж, тоже? — обратился доктор к Плетневу, видя, что и тот слезает.

Плетнев ничего не ответил. Теперь и для непривычного глаза видно было, что он волновался. Его лицо как-то сразу осунулось, потускнело, глаза безжизненно искали, на чем остановиться.

Они вошли в темные сени.

У противоположной стены, на соломе, лежало сухое, костлявое тело Федора. Ворот пестрядинной рубахи был откинут и раскрывал часть поросшей волосами груди, тяжело, порывисто дышавшей. Курчавая белокурая борода сбилась и прилипла к потному телу. Серые стеклянные глаза безжизненно глядели прямо перед собой. Побелевшие губы по временам что-то тихо шептали. Несмотря на щели и отворенную дверь, в сенях чувствовался тяжелый запах и пот больного. В дверях толпились родные — два мужика и несколько баб. При входе господ они посторонились и пропустили их к больному.

Федор повернул свои безжизненные глаза и молча, тупо, бессмысленно уставился в Плетнева.

Плетнев чувствовал себя жутко под этим ледяным, прямо в упор на него направленным чужим взглядом.

Но вдруг в глазах Федора блеснул огонек, лицо согрелось, ожило, он точно вспомнил что-то и, продолжая тихо шевелить губами, стал пристально, с каким-то детским любопытством, весело всматриваться в Плетнева.

— Ну, что, Федор, как поживаешь? — спросил Василий Николаевич, чтоб прекратить тяжелую для себя сцену.

Федор точно ждал этого вопроса: напряженность исчезла в его глазах, он будто вспомнил что-то или понял и, удовлетворенный, равнодушно отвел глаза от Плетнева, как от чего-то такого, что с этой минуты для него уж не представляло интереса. Он обвел других и остановил свои глаза на жене. Он поманил ее к себе едва заметным движением пальца и, когда та наклонилась, тихо проговорил, точно сообщая секрет:

— Озорничает... [1]

Озадаченная старуха проговорила растерянно:

---

[1] Издевается. *(Прим. автора.)*

— Что ты, что ты, господь с тобой! Это Василий Николаич... отец наш. Молиться нам за него.

Федор выслушал, пожевал губами, подумал и спокойно, с упрямством безумного или в горячечном бреду человека, убежденно прошептал:

— Озорничает...

Сказав, он отвернулся к стене и молча уставился светлыми бессмысленными глазами в щель.

Василий Николаевич растерянно, тоскливо оглянулся кругом, постоял еще и отошел от больного.

Пока доктор делал осмотр, он вышел во двор и молча стал ходить взад и вперед. Тоскливое тяжелое чувство охватило его. Он понимал, что Федор в бреду, но, как человек чуткий и вследствие этого подозрительный в отношении всякого рода чувств, он и боялся, и не хотел, и опять видел в словах Федора не простой бред. «Бред,— думал он,— но, как всякий бред, он должен иметь подкладку».

Василий Николаевич спохватился, что стоял перед Федором в шляпе, вспомнил то невольное чувство брезгливости, какое он ощутил в ту минуту, когда стоял у одра больного, и еще тоскливее стало ему. Федор, который столько лет был ему близок, в глазах которого он улавливал всегда что-то понимавшее его, стал сразу чужим, сразу порвалась та связь, которую считал он прочной и надежной, и все как-то сразу обнажилось в подавляющей наготе своей. Уж очень ясно как-то стало. Он, Василий Николаевич, стоял перед другим человеком — Федором. Он, сытый, довольный, обладающий всем, стоял перед этим обездоленным, заканчивающим свою многотрудную, тяжелую жизнь человеком, лишенным даже радости сознания, что верный друг его, старуха, остается обеспеченной хотя этим животным помещением да черствым куском хлеба. И никому нет дела до этих парий человеческого рода. Никому, начиная с него. А если еще ужасы голода ждут всю эту голь перекатную, которая и в хорошие годы не живет, а только влачит свое существование?! Лицо Плетнева исковеркал тупой ужас. «В город на зиму!» — ураганом пронеслось в его голове и тоскливо стихло.

Доктор вышел.

Они молча сели в кабриолет.

— Нет надежды. Воспаление легких, и оба... Перебои... С минуты на минуту надо ждать паралича сердца... Дал дигиталис для очищения совести... шестьдесят два года... да и поздно уж теперь.

Плетнев тупо слушал, следя безжизненными глазами за расплывавшейся в вечернем небе тучкой.

Нет, не будет дождя!

Кабриолет проехал мимо толпы мужиков, сидевших на углу двух улиц. Все встали и молча поклонились господам.

Когда экипаж отъехал, Фомин, худой нервный мужик с толстыми синими жилами на тонкой шее, с редкой прямой бородой, угрюмо закончил свою, оборвавшуюся проездом господ, речь:

— Тут и живи...

Маленький пьяный мужичонка Федька вскочил при этих словах, как ужаленный, и, пьяно подскакивая, стал бить себя в грудь, силясь что-то сказать. Но, кроме «эх-эх-эх!», ничего не выходило.

— Ну, да ладно,— пренебрежительно отвел рукой Фомин навалившегося на него Федьку. Федька оправился и опять запрыгал перед Фоминым.

Наконец, вышло что-то.

— Эх-эх-эх! Земля-то... Земля где? Ну?

— Ну? Нет земли!

— Эх-эх-эх! Лошаденка-то... Лошаденка одна? Ну?

— А то и ни одной...

— Ну? Одна?! Все одна?! Ну?!

— Ну? А я чего ж баю?

— Эх-эх-эх! Стой! — заорал вдруг Федька.

В его пьяном воображении кабриолет все еще был здесь, где-то недалеко. Освещенный какой-то мгновенной мыслью, он повернулся, но кабриолет уже скрывался далеко за мостом.

И кабриолет исчез, и мысль, вырвавшись из пьяной головы Федьки, умчалась куда-то.

— Эх-эх-эх! — судорожно заметался он в мучительном напряжении поймать эту мысль, сказать желанное слово, подвернувшееся уже было на язык.

— Ну, да ладно,— сказал Фомин,— спать пора!

И, встав, он посмотрел на расплывшуюся тучку и проговорил, тряхнув угрюмо головой:

— Не дает господь дождичка... хоть ты что...

Из избы Елесиных донесся протяжный замерший вопль старухи.

— Помер...— проговорил Фомин и, сняв шапку, медленно перекрестился.

Все молча сделали то же.

— Нет больше дяди Федора,— сказал молодой мужик Константин.

— Нету...— ответил Григорий и, погладив свою длинную рыжую бороду, докончил: — Дослужил свой срок. А старуха-то, старуха... И-и! Голосом воет...

1892

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ДЕРЕВНЕ

Задавшись благими намерениями, я отправился в деревню хозяйничать, но потерпел фиаско. Несколько лет жизни, тяжелый труд, дело, которое я горячо полюбил, десятки тысяч рублей — все это погибло, прахом пошло...

Побуждает меня взяться за перо желание выяснить вопрос: следует ли продолжать опыты вроде моего? Отсюда основная задача моего труда — добросовестное, без всяких предвзятых соображений, буквальное воспроизведение бывшего.

Познакомившись с моей работой, читатель увидит, что, преследуя благие намерения, я довольно бесцеремонно, если можно так сказать, повернул жизнь своей деревни из того русла, которое она пробила себе за последние двадцать пять лет, в русло, которое, в силу разных соображений, показалось мне лучшим.

Такой поворот не прошел для меня безнаказанно. Может быть, это произошло в силу моей неспособности или неуменья взяться за дело, а может быть, и в силу общих причин, роковым образом долженствовавших вызвать неудачу.

Об этом пусть судят другие.

I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Князь.— Юматов.— Сын Юматова.— Скворцов.— Николай Беляков.

Ярко сверкает, точно застрявший в расщелине, пруд. Весело сбегает к нему со стороны горы зеленый лесок, а по другую сторону пруда далеко и привольно раскину-

лась хлебородная степь. У самого берега тесно жмется друг к другу ряд старых, покосившихся изб. Деревня называется — Князево.

Лет сто тому назад земля эта была высочайше пожалована князю Г., и для заселения ее он вывел восемьдесят дворов из Тульской губернии.

Об этой отдаленной эпохе сохранилось очень мало воспоминаний. Существует и до сих пор группа старых берез, в виде аллеи,— остаток бывшего здесь некогда сада. По словам соседних крестьян, под этими березами князь учил своих мужиков уму-разуму, то есть попросту сек. Князевские мужики обходят этот факт угрюмым молчанием. Детали изгладились, и упоминается князь только для выражения самой седой старины.

— Эта земля еще при князе пахалась.

— Уродило так, как только при князе рожало.

В начале девятнадцатого столетия князь продал имение соседу Юматову, а крестьян взял на вывод.

Но крестьянам, видно, уже успели приглянуться эти привольные места. Полюбили они и гладкую поверхность своего пруда, в котором столько рыбы, что только не ленись ловить, и лесок, где так много грибов, ягод, а еще больше дров, лыка, оглоблей, а то и бревешек; полюбили и то привольное поле, что так щедро оплачивает их работу благодаря своему двухаршинному чернозему. Узнав, что князь хочет их вывести, вся деревня в один прекрасный день точно сквозь землю провалилась: остались только избы да дворы; все же живое, как владельцы, так и скотина, исчезло. Дело кончилось тем, что, побившись месяца два и не найдя никого, князь отстал от крестьян и передал их Юматову.

Князевцы любят вспоминать об этом времени, но, по обыкновению, скупы на слова.

— В Поляном лесу жили, в норах, как лисы. Сейчас есть след. Руками хлеб мололи... Ничего, господь помог, вытерпели...

Соседние деревни вполголоса рассказывают охотникам послушать причину, побудившую князя продать имение.

— Подшибся князь через своих мужиков,— озорники они. И сейчас добра от них никому нет и раньше не было. За озорство их и из Тулы перевели. Весь их род уж та-

кой. Недаром Юматов отбивался от них, точно чуял, сердечный, свою судьбу.

Воспоминаний об Юматове сохранилось больше. Он оставил память о себе, как о хорошем хозяине, но был лют и охоч до баб. Это, главным образом, и погубило его. Исторический факт таков: Юматова убили ночью, нанеся ему до ста ран. Двухлетние розыски не приводили ни к чему. Наконец, один из главных виновников, пьяный, на празднике в соседней деревне рассказал, как было дело. Виновного схватили, посадили в острог, два года он запирался, а потом, когда уже хотели было на все махнуть рукой, повинился во всем и выдал сообщников. Дело кончилось тем, что сорок дворов было сослано в Сибирь. Сами князевцы охотно вспоминают о смерти Юматова и так приблизительно передают дело:

— В Казань за подходящими людьми посылали. Две недели кормили и поили их. Все никак нельзя было: то он в гости, то к нему гости. Дворню всю на свою сторону переманили. Мальчик при нем дворовый спал,— тоже на нашу сторону поддался. Часовых по дорогам расставили... Здоровый был: девять человек насели на него; он их волоком проволок по всем комнатам,— все выходу искал. Выскочи он во двор, так и не дался бы, да на самом крыльце один в лоб ему угодил оглоблей, тут он и повалился.

О самой ссылке предание совершенно умалчивает. Князевец угрюмо отделывается короткою фразой:

— Греха много было... Вытерпели...— помолчав, угрюмо добавляет он.

Во время малолетства сына Юматова князевцам жилось недурно. Вырос сын Юматова, послужил в военной службе и незадолго до воли приехал в деревню на жительство. Сначала мужиков в руки крепко прибрал. Попробовали они было его поучить маленько и на первый раз подрубили амбары; но дело кончилось не совсем благополучно. Юматов вызвал обжорную команду, то есть роту солдат, которую крестьяне должны были кормить на свой счет. В два месяца рота объела всю деревню. Мужики взвыли, но не выдали виновных. И вдруг барин все узнал. Троих сослали в Сибирь, а остальных перепороли.

Давно нет и Юматова, нет и большинства участников современных ему событий, новое поколение уже стариками становится, а до сих пор не могут простить князевцы бывшему тогда старосте из своих мужиков, на которого пало подозрение в измене. Жалко и страшно смотреть на этого неряшливого высокого старика, когда он пробирается по селу. Года гонений и преследования положили на него печать Каина; он идет спешною, неуверенною походкой, беспрестанно оглядываясь в ожидании, что вот-вот первый выскочивший из ворот мальчишка пустит ему под ноги камень. В его глазах озлобление и страх. Что пережил этот человек во всю свою долгую жизнь,— человек, который клянется, что он не виноват! Никто ему не верит. Недаром два часа пробыл с ним барин, запершись в кабинете, перед тем днем, как засадил в острог виноватых. Он был богат, но все исчезло: лошадей покрали, сено каждый год жгли в стогах, хлеб почти весь в снопах разворовывали. Он давно разорился и совершенно обнищал.

— Так ему, собаке, и надо.

Об этом периоде князевцы вспоминают угрюмо и с большою неохотой.

— Известно, команда курицу поймает — тащит, барана — тоже тащит,— запрету ни в чем не было, как саранча, все объели,— и, помолчав, прибавляют: — Вытерпели. Где команда? А мы все тут.

Относительная тишина царила не долго после этого.

Пришла воля, а с ней и новые хлопоты князевцам.

Как ни крутили их, как ни старался посредник, как ни старался Юматов, а мужики на своем настояли,— все вышли на сиротский надел,— на даровую одну четвертую часть душевого надела.

Крестьянин Афанасий Сурков так рассказал мне эту историю:

— Видишь ли ты, батюшка мой (Афанасий — мужик не из бойких, говорит медленно, с трудом складывает мысль в слова)... солдат, значит, Симеон — вот брат нашему Чичкову — пришел и говорит: грамота золотая от царя пришла; кто, значит, на полный надел пойдет, того опять в крепость поворотят. Кому же неволя опять идти? Ну, значит, и присягнули промеж себя: друг дружку не выдавать. Крестились, образ, значит, в Семеновой избе

целовали. Приехал исправник, мировой, барин пришел. Собрали нас на сход. Тоё да сеё, исправник как закричит: «Да что с ними разговаривать? Одно слово, трава и больше ничего. Розог!» Принесли розог, скамейку вынесли, поставили. Исправник прямо ко мне: «Руку даешь?» Похолонуло у меня на сердце: «Не дам, говорю. Что хошь делай: хоть бей, хоть убей — не дам».— «Ложись»,— говорит. Перекрестился я, говорю: «Ты видишь, пресвятая богородица!» — лег я, и стали они меня...

Он замолчал и напряженно наклонился вперед, точно силясь получше рассмотреть то, что было двадцать пять лет назад. Его лицо выражало недоумение и тщетное напряжение что-то понять. Он говорил медленно и нехотя.

— И стали они меня, и стали-и... Били, били...

Он с каким-то мучительным наслаждением повторял это слово, точно снова переживал давно прошедшее.

— Закусил это я руку, чтобы не закричать... Все молчу. «Будешь ты, собачий сын, говорить?» А я все, знай, молчу. «Бросить, говорит, этого дурака,— другого!» Встал я, перекрестился на небо, да и говорю: «Царица небесная, ты видела: за что они меня били?»

Голос Афанасия на этом месте оборвался, и он угрюмо замолчал.

— Чем же кончилось? — спросил я.

— Да чем кончилось? — повеселевшим голосом заговорил он снова.— После меня за нашего Чичкова взялись; он туда-сюда: «Вот чего, говорит, старики: не всем же пропадать, не лучше ли покориться?» Ну, и покорились.

— Тебя одного, значит, пороли?

— Одного, батюшка, одного,— раздумчиво отвечал Афанасий.

— Да за что?

— А господь их знает. Вот убей — и сейчас не знаю, за что.

От Афанасия так ничего больше и нельзя было добиться. Он твердил свое:

— И не знаю, и не знаю, и не знаю, батюшка... И господь их знает, чего им надо было, и за что они меня пороли — и сейчас не знаю.

Уже от других мужиков можно было узнать, что речь шла о выборных, которых они сдуру, по наущению солдата Симеона, не хотели выбирать, боясь подвоха.

Ликованье, что так ловко отвертелись от полного надела, скоро сменилось у князевцев унынием.

Спохватились, да поздно, что солдат Симеон зря болтал. Цена на землю стала шибко расти: с трех рублей за хозяйственную десятину (три тысячи двести кв. саж.) сразу вскочила на пять рублей за посев одного хлеба. Прошло еще немного — стала земля семь-восемь рублей. Земля подорожала, а родить на ней стало наполовину хуже. Посеянный хлеб, как все посчитать, без малого стал в купку обходиться, то есть за затраченные деньги и труд можно было и на базаре за ту же цену хлеб купить. Соседние деревни, которые на полный надел пошли, хоть плохо, а жили. Князевцам же совсем стало невмоготу. Шибко обеднел народ. Стали о новой земельке толковать. Ткнулись туда-сюда — все то же, да и насиженные места не так-то легко бросать.

Худо стал жить народ; особенно памятен голодный шестьдесят пятый год. Половина населения всю зиму Христовым именем кормилась. И что это за жизнь была! Ладно, кто еще догадался дубовыми желудями запастись,— тот желудевым квасом питался. Дети в тот год почти все перемерли; много и взрослых от тифа свернулось.

— Никто и живым не чаял остаться,— говорили князевцы,— да пожалел господь, помощь послал.

Помощь состояла в том, что Юматов, подбитый голодным годом, заложил имение. Денег дали много, больше, чем надо было, и он решил устроить у себя винокуренный завод. Ожили князевцы, закипела работа. Дела пошли хорошо. И Юматову сначала было недурно, но потом, вследствие покровительства крупным винокуренным заводам, дела пошли хуже. Старыми машинами работать стало невыгодно, для новых не хватало денег; подвернулись семейные невзгоды, Юматов запил. Приказчики, видя, что дело пошло к концу, стали усиленно воровать.

Попользовались и князевцы: с приказчиками они спелись и дела вели дружно. Привезет сажень дров, а ярлык

берет на три,— третья часть приказчикам. Мужики были и пьяны и сыты.

— Вот она штука-то,— толковал мужик Чичков.— Барину худо — мужику хорошо. Пока в силе был — дохнуть было нельзя, подшибся — легко стало.

Не долго, однако, протянул Юматов. Нежданно-негаданно наехали чиновники и описали завод. Юматов поехал в город. Недели через две пришла весть, что Юматов умер. Имение попало к кредиторам, и был назначен конкурс. Главный кредитор тайно от других захватил всю движимость. Работа была спешная, и в ночь перед описью все надо было припрятать.

Николай Беляков, бывший кучер Юматова, с несколькими князевцами лихо обделали дело. Всю ночь выносили вещи; прятали их и по дворам гостеприимных князевцев, и в снег зарывали, и в лес отвозили.

Конкурс продолжался около года и прошел не без пользы для князевцев: лес покупали за бесценок,— вместо десятины рубили две; землю снимали десятину, сеяли полторы и т. д. Конечно, делились с приказчиками, но не обидно: «водки бутылку, поросенка, когда прямо рублевку сунешь».

Наступил конец и конкурсу. Имение осталось за главным кредитором, купцом Скворцовым. Новый владелец ни во что не вмешивался, жил постоянно в городе, где и занимался ростовщичеством. В деревне же он посадил приказчиком Николая Белякова. Николай Беляков обязан был поставлять ему ежегодно пять тысяч рублей, кроме леса (с двух тысяч четырехсот десятин, доставшихся Скворцову за тридцать семь тысяч рублей). До остального Скворцову дела не было. Винокуренный завод, все постройки, кроме одного флигеля, были, за ненадобностью, проданы за четыре тысячи двести рублей (первоначальная их стоимость около сорока тысяч рублей). Сад был вырублен постепенно Беляковым на отопление флигеля. Продажа леса шла вовсю. Лес Скворцов не признавал выгодною статьей, как не оправдывающий процентов на затраченный капитал.

Беляков ловко повел дело. Не успели мужики оглянуться, как он зажал их в свой кулак, как в железные тиски. Прием его был простой, но верный: пять-шесть дворов побогаче он гладил по шерсти — давал им на вы-

бор лес, лучшую земельку, и ценой подешевле, и мерой не обижал. С остальною же деревней он действовал иначе. Приходит, например, время брать землю. Беляков назначает цену и день сдачи. Мужики делают стачку сбить цену. Беляков только посмеивается.

Порядок сдачи земли такой: кто все деньги принес сразу, тот пользуется правом выбора лучшей земли; берущим в кредит достается не разобранная за наличные деньги и, конечно, худшая земля. Для противодействия стачке дается повестка во все соседние деревни. Хорошей земельки кому не надо? И, глядишь, в день сдачи возле избы Белякова точно базар от наехавших подвод. На всякий случай заготовлено несколько подставных покупщиков. Подставные, как только цена объявлена, тотчас изъявляют на нее согласие и требуют себе лучшую землю. Богатеи, те шесть дворов, о которых было упомянуто выше, только ждут этого момента. Так прямо против мира идти нельзя, если сделана стачка, а уж начали брать, так чего же поделаешь?

— Что ж, старики,— начинает в таких случаях Чичков,— чего ж тут еще дожидаться? Ничего, видно, не поделаешь — хитер, собака, ловко придумал. Чужие разберут, а сами где сеять станем? Идти надо.

Богатеи энергично поддерживали Чичкова, а за ними, почесываясь, плелись и остальные князевцы.

А вечером у «собаки» шла выпивка, и Беляков в десятый раз, захлебываясь от восторга, рассказывал богатеям, как он ловко все проделал. Князевцы и сами понимали, как их Беляков оплел, да ничего не поделаешь. Пробовали ему пригрозить поджогом, он и против этого нашел сноровку. Высмотрел в деревне центральное место и стал торговать его у хозяина, Алексея Ваганова. Ваганов, хотя и плохонький был мужичонко, а насиженным местом дорожил и заломил такую цену, что Беляков только свистнул и ушел, сказав на прощанье:

— И подешевле отдашь.

И действительно отдал. Через неделю нагрянул обыск, и у Ваганова нашли барский котел, вмазанный в печь. Ваганов и не запирался, что он выломал, но указал, что и другие не лучше его: почитай, у всякого барское добро есть — сам Беляков и спит, и ест, и пьет из барского. Кончилось, однако, тем, что других не тронули, а Ваганова в

Сибирь сослали. Осталась Устинья с четырьмя детишками, пришла зима, а с ней голод и холод, отдала вдова свою усадьбу, а за это ей избу перенесли на край села, да еще дали десять рублей. Так поселился Беляков в центре села.

— Жги его, собаку, коли себя не жаль! — толковали князевцы.

— Ах, собака, собака, и ничем его не доймешь!

— В овраге где-нибудь ночью прикончить.

— Станет он тебе по оврагам ночью ездить! Ему что за неволя?

— Ах, собака, пра, собака!

Взялся было Андрей Михеев миру послужить, лошадок увести,— богатеи донесли во-время, и Михеев чуть жизнью не поплатился: весь заряд на вершок от него просвистал, а вдогонку еще Беляков закричал:

— На первый раз, Андрей, только попужал, а впредь не взыщи.

— Хай ему пес,— отплевывался Андрей, повествуя в кабаке про свою неудачу.

А на другой день Беляков пришел к Андрею с понятыми и составил протокол о том, что верея [1] из барского двора вырыта.

Два часа Андрей валялся в ногах у Белякова, пока тот смиловался.

— Ну, помни же, Андрей. Протокол я припрячу до времени, а уж какой выйдет грех, ты у меня будешь в ответе.

Приуныли князевцы. Богатые из года в год богатели, а бедняки беднели все больше и больше.

Терпели князевцы, терпели, да, наконец, и невмоготу стало. Да и случай-то вышел исключительный. Высмотрел Беляков как-то дешевый гурт скота, дешевый потому, что открылся в нем падеж. Беляков с богатыми и соблазнился на дешевку. Купили весь гурт и пригнали в князевское стадо. Результатом было то, что все коровы у князевцев передохли. Ну, и зашумели же князевцы! Целую неделю не решались Беляков и его товарищи показаться в деревню. Кончилось, однако, тем, что Беляков и богатеи

---

[1] Верея — воротний столб. *(Прим. автора.)*

помирились с миром на десяти ведрах водки. Один Степан Лайченков не стал пить.

— Хай вам, собаки! Один я с бабой, детей нет, послужу миру,— сказал Степан, тряхнул головой, надвинул шапку и пошел домой.

Так и замер Беляков со стаканом водки в руках. Насторожился и мир. Со Степаном шутки плохи были. Степана все боялись. Боялись за его огненные, как у бешеного, глаза,— как сверкнет он ими, так на что Андрей Михеев отчаянный, а и тот, как бы пьян ни был, отстанет.

Струсил Беляков и пошел со Степаном мириться. Надавал он Степану пятнадцать рублей за павшую корову, но Степан стоял на своем.

— Ничего не возьму, а миру послужу. Опостылел ты всем, собака... Найду и на тебя конец.

— Да ты не стращай. За это, знаешь, куда попадешь? — огрызался Беляков.

— Слушай, Николай! Ты других пугай, а меня оставь. Нас только бог слышит, так вот тебе я что скажу. Полгода я даю тебе срока, не уйдешь волей — жив не будешь.

И глаза Степана так сверкнули, что Николай сделался белый, как рубаха.

— Опостылел ты, подлец. Я не буду таиться. От меня никуда не уйдешь. Я прямо возьму топор да среди улицы тебя и хвачу. Вот этак!..

И Степан, в одно мгновение схватив топор, лежавший под лавкой, замахнулся над Николаем.

— Господи Иисусе, помилуй,— прошептал Николай, прижавшись к притолоке.

Панический ужас точно сковал его. Широко раскрытыми глазами впился он в страшное, искаженное бешенством лицо Степана.

— Куда уйдешь, собака? — неистовым голосом закричал Степан и, не помня себя, со всего размаха опустил топор.

Прибежали соседи, но уже было поздно: Беляков, с рассеченною головой, с распластанными руками, валялся на полу, а Степан, очевидно, бессознательно, бережно обтирал окровавленный топор.

— Степа, господь с тобою, что ты это сделал? Погубил ты себя.

Степан точно проснулся. Он оглянулся, посмотрел на лежащего Белякова, на топор, бросил его и, проговорив упавшим голосом: «Братцы, голубчики, пропала моя душенька, лукавый попутал»,— зарыдал, как ребенок.

Вся деревня сбежалась, и вся деревня рыдала.

— Степа, голубчик, что ты наделал? — повторяли мужики на все лады и по очереди обнимали Степана.

А Степан рыдал и рыдал, твердя одно и то же:

— Погубил я свою душеньку.

И Степана угнали в Сибирь. Нового приказчика прислал Скворцов, но уже доходов тех не было.

При первой оказии новому приказчику объявили на сходе:

— А ты не больно. Много вашего брата здесь перебывало. Всяких видали — и не таких, как ты, а где они? Все вверх по Степаиловке ушли [1], а мы все тут.

Приказчик оробел и повел дело спустя рукава. Скворцов решил продать имение. Покупщиком явился я.

II. ЦЕЛЬ ПОКУПКИ ИМЕНИЯ

Заботы о личном благосостоянии.— Организация моего хозяйства.— Немецкая колония.— Технические улучшения в имении.

Мне было тридцать лет, я был женат и имел двух маленьких детей. Предыдущая моя деятельность ничего общего не имела с деревней. С хозяйством, так как вся родня моя всегда занималась земледелием, я был знаком. С народом хотя я и сталкивался, но быт его знал более по литературе. По специальности я был инженер путей сообщения, но бросил службу за полною неспособностью сидеть между двумя стульями: с одной стороны, интересы государственные, с другой — личные хозяйские. Казенных железных дорог тогда еще не было. Имение я купил за семьдесят пять тысяч рублей,— значит, оно в течение пяти лет удвоилось в цене. Жена и я — оба мы страстно стремились в деревню. Перспектива свободной, независимой деятельности улыбалась нам самым заманчивым образом.

---

[1] Степаиловка — ручей, в верховьях которого было расположено кладбище князевцев. *(Прим. автора.)*

Цели, которые мы решили преследовать в деревне, сводились к следующим двум: к заботам о личном благосостоянии и к заботам о благосостоянии окружающих нас крестьян. Каким путем думал я стремиться к достижению этих целей?

Вообще, а в деревне в особенности, в делах людских резко бросается в глаза неразумное приложение сил в борьбе за существование. У людей под руками неисчерпаемые богатства в лице природы, а почти вся их деятельность направлена не на эксплуатацию этой природы, а на вымогательство у более слабого. В городах это не так режет глаза, но в деревне, у самого источника, так сказать, глупо и дико видеть, как все силы человека направлены на то, чтобы как-нибудь отнять последнюю каплю у ближнего, когда соединенными усилиями можно овладеть целым источником. Мне и хотелось помочь людям стать на надлежащий путь, хотелось помочь им перенести центр тяжести борьбы за существование на природу. Задача не казалась особенно трудной: стоит научить крестьянина более успешным приемам борьбы с природой, и он сам поймет, как дико и нелепо бороться с ближними, тем более, что в той местности, где я приобрел имение, были уже примеры такого отношения к делу.

В образец я взял немецкое хозяйство. Верстах в сорока, в начале пятидесятых годов, поселилась колония немцев-менонитов, состоящая в настоящее время из ста семейств. О баснословных урожаях сам-тридцать я услыхал сейчас же по приезде. Мой первый визит был в Колонки. Я осмотрел подробно хозяйство колонистов. Во всем система, порядок, аккуратность. Даровой надел каждой семьи шестьдесят десятин, оборотный капитал, вывезенный из Германии, около десяти тысяч рублей на семью, то есть на десятину приходится около ста семидесяти рублей. Средний валовой доход с участка около трех тысяч. Откладывается ежегодно от пятисот до тысячи рублей. Переживали они и плохие времена. Четырехпольная система дала в России неудовлетворительные результаты. Но в начале шестидесятых годов колонист Пенер, энергичный и дельный человек, перешел к обыкновенной русской трехпольной системе, применив к ней глубокую запашку, удобрение, обновление семян и прочее. Дела колонистов приняли вскоре блестящий оборот.

Я отдался делу с такою любовью, какой не предполагал в себе. Моя страсть: побольше поспать — пропала бесследно. С первым лучом солнца я был на ногах, торопился пить чай и спешил на двор. Там десятки хорошо выкормленных лошадей впрягались в немецкие плуги и стройно выезжали в поле, начинавшееся прямо от дома. Туда же двигались воза с навозом. Аммиачный запах его сильно разносился по свежему воздуху. Весь секрет состоял в том, чтобы скорее запахать разбросанный навоз, чтобы аммиак и прочие летучие части навоза не успели выветриться.

С каким наслаждением научился я устанавливать плуги! По целым часам ходил я за установленным мною плугом, вдыхая запах свежей земли. Земля выворачивается, подымается, достигает известной высоты лемеха и винтообразно рассыпается вниз.

Рядом с полевым хозяйством я вел целый ряд журналов, долженствовавших выяснить количество и стоимость работ.

Мои друзья немцы-колонисты приезжали изредка ко мне, одобряли, исправляли и предупреждали, чтобы я не увлекался и не ждал сразу блестящих результатов. Они говорили, что нужно время, пять-шесть лет, чтобы достигнуть их урожаев. Я достиг их результатов в три года,— в третий год мой урожай, по количеству и качеству, ничем не отличался от их урожая. Но если в отношении количества и качества я достиг того же, то в отношении стоимости я значительно уступал немцам. Все у меня обходилось дороже и всего выходило больше. Объяснялось это отчасти тем, что я нарочно поднял заработную плату, находя ее слишком низкой, отчасти инженерною привычкой делать все скоро, и только по личному опыту убедился, что скорость и стоимость обратно пропорциональны между собою. Наконец, несомненное влияние на удорожание имело то обстоятельство, что я не имел соответственного штата людей в своем распоряжении. Подобрать в деревне такой штат очень и очень трудно. Или будет честный, но ограниченный, или ловкий, но только для себя. Все эти приказчики, старосты, дрессированные в прежней школе, ничего не стоят, в новое дело они не верят; по личному опыту у них сложилось твердое убеждение, что все эти новаторства — прямой путь к разорению,

а при таком отношении никакой энергии, никакой любви, понятно, быть не может. Постепенно присматриваясь к окружающим и заметив несколько смышленых рабочих, в течение трех лет я успел организовать из них потребный штат низших служащих, удовлетворявших моим требованиям.

Надежду иметь настоящих помощников я откладывал до того времени, когда вырастет молодое поколение деревни, поступившее в школу, которой заведовала моя жена.

Свои инженерные познания я применял во многих случаях при хозяйстве. Привычка к большому делу, привычка обобщать, делать правильные выводы, привычка быстро применяться к местным условиям, привычка обращения с рабочими — все это сильно помогало мне. Технические познания дали мне возможность воспользоваться благоприятными местными условиями. Мое имение, расположенное на водоразделе, имело две речки, бравшие начало и впадавшие в другую реку на моей же земле. По нивелировке оказалось, что эти речки можно соединить в одну.

Вследствие этого моя мельница, вместо двух, заработала на пяти поставах. Доходность ее утроилась. Приобретя такую громадную силу, я решил приспособить ее к разным целям хозяйства. Я устроил водяную молотилку, вследствие чего молотьба стала обходиться много дешевле. При молотилке я устроил амбары, куда при помощи элеваторов механически пересыпался уже очищенный хлеб. С последним поданным в барабан снопом последняя горсть зерна попадала в амбар, и воровство зерна — это зло нашего хозяйства — у меня не имело места.

На случай ненастья, отчего часто хлеб осенью в наших местах сгнивает в снопах, я устроил крытые сараи и сушилки. Стремясь завести интенсивное хозяйство, я организовал пеклеванное дело, устроил маслобойку, чтобы добывать масло из подсолнечных семян, для чего ввел крайне выгодную новую культуру в наших местах — посев подсолнухов. Я развел фруктовый сад, насадив до двух тысяч фруктовых деревьев. Все это, вследствие моей страсти к быстроте, стоило мне довольно дорого и не могло приносить тех выгод, какие я мог бы получить, де-

лая все это не торопясь. Ко второму году хозяйства мой оборотный капитал, около сорока тысяч рублей, растаял весь. Отсутствие запасного фонда меня мало смущало, так как средний чистый доход определялся мною в десять тысяч рублей. Сверх того я имел инвентарь тысяч в пятнадцать, запасы семян, хлеба и прочее.

III. ЗАБОТЫ О КРЕСТЬЯНАХ

Лечение.— Школа для детей и взрослых.— Увеселения.— Заботы о материальном благосостоянии крестьян.— Состояние крестьянского хозяйства в Князеве.— Меры, направленные к улучшению его.— Община.— Способ, принятый мною для достижения цели.

В деревне и жене и мне дела было по горло. На долю жены доставалось его больше, чем мне. Главные ее заботы относительно крестьян сосредоточивались на лечении и обучении детей грамоте. Лечила жена разными общеупотребительными средствами. Обучила ее моя сестра — женщина-врач, прогостив у нас несколько месяцев. Недостатка в больных никогда не было. Бесплатное лечение, ласковость, счастье в лечении привлекали к жене массу пациентов, и она подчас порядком утомлялась практикой.

Заботы о просвещении сводились к тому, что жена устроила школу, где и занималась сама со всеми ребятишками и девчонками деревни. Школа ее имела через два года пятьдесят учеников. У нее были два помощника из молодых парней, окончивших сельскую школу в ближайшем большом селе. Крестьяне с доверием относились к школе. Часть из них видела в школе возможность избавиться их детям от тяжелого крестьянского труда, заменив его более легким трудом писаря, приказчика, целовальника.

При этом, конечно, указывались примеры.

Другая часть крестьян мечтала о том, что их дети, научившись, будут читать им святые книжки. Наконец, третья часть крестьян, большинство, ничего не формулируя, соглашалась глухо, что школа — «дело доброе». Были и противники школы, но такие — даже и между крестьянами — считались рутинерами. Дети любили школу, для них она имела всегда новый, всегда свежий

интерес. Я любил посещать уроки жены. С виду на них царил полный беспорядок, но при ближайшем наблюдении ясно было, что это только внешний вид такой,— порядок был полный в том смысле, что интерес всех к уроку достигал высшей степени; но так как форме при этом не придавалось никакого значения, то и выходило что-то непривычное,— внешней дисциплины никакой; это скорее был детский клуб, а не школа.

Я тоже был преподавателем. Я читал им обработку и уход за землей, за растениями. Был еще мастер, который учил детей делать горшки. Выделка этих горшков давала некоторый доход им, так как горшки продавались на ближайшем базаре. Полученные деньги составляли их гордость и радость их родителей.

И говорить нечего, что покупка горшков для нужд домашних на деревне прекратилась совершенно, так как ученики вволю снабжали ими своих родных. Радость мужиков и баб выражалась примерно таким образом:

— Бывало, разобьется горшок — бить бабу. А теперь бей, сколько влезет — свои горшки. Шабаш!

И князевец весело потряхивал головой.

Со взрослыми, которых в школу не загонишь, я при каждом удобном случае вступал в беседы на всевозможные темы: сегодня история, завтра политическая экономия, там политика, сельское хозяйство, смотря по тому, с чего начинался разговор.

Я шутя говорил, что в десять лет они все у меня будут с высшим образованием. Нельзя сказать, чтобы они без интереса относились к моим рассказам и не любили их, но времени свободного у них было мало, и нередко на самом патетическом месте меня обрывали без церемонии:

— Так как же насчет пашни-то?

Зато в праздничный день или зимой они слушали долго и с охотой, до тех пор пока дрема не одолевала.

Бывало, зимой, вечером рассажу их в кабинете по диванам, креслам, стульям, прикажу подать им чаю и на первую попавшуюся тему, по возможности простым языком, начинаю. Самый большой любитель моих рассказов — Сидор Фомич, мой ключник, старичок лет семидесяти, честный, прекрасной души и правил человек. Бывало, как я только начинаю, усядется поглубже в кре-

сло, прокашляется, оправит свой полушубок и с детски-радостным лицом уставится на меня. Но не пройдет и десяти минут, как мой Сидор Фомич начинает сначала потихоньку, а потом сильнее и сильнее клевать носом. Пройдет час, и все мои слушатели после отчаянных усилий склоняют свои трудным боем с жизнью удрученные головушки. Я кончаю свою лекцию и распускаю слушателей с тем, чтобы назавтра начать новую лекцию.

Святки были посвящены заботам о веселье. Мы с женой старались, чтобы этот кусочек в году проводился князевцами весело и беззаботно. Задолго до рождества в школе начинались оживленные толки о предстоящей елке. Этою елкой бредили все без исключения дети деревни. Быть на елке — это было такое их право, против которого не смели протестовать самые грубые, поглощенные прозой жизни родители.

Как бы ни был беден, а в чем-нибудь да принесет заплаканного пузана в новой ситцевой рубашонке, торчащей во все стороны. Станет на пол такой пузан, воткнет палец в нос и смотрит на громадную, всю залитую огнями елку. А тут же мать его глядит — не оторвется — на своего пузана, ласково приговаривая:

— Поди вот с ним, ревмя-ревет — на елку. Чего станешь делать? — притащила.

Но вот начинается с таким нетерпением ожидаемая раздача подарков и лакомств. Ученикам — бумага, карандаши, дешевые книжки и шапка орехов с пряниками, другим — ситцу на рубаху, кушак и тоже пряников с орехами. С елки каждому по выбору срывается что-нибудь по желанию. И, боже мой, сколько волнения, сколько страху не промахнуться и выбрать что-нибудь получше!

Но самое главное происходило на третий день, когда елка отдавалась ребятишкам на разграбление. Детей выстраивали в две шеренги, и по команде между ними падала елка. Каждый спешил сорвать, что мог. Нередко радость кончалась горькими слезами трехлетнего неудачника, не успевшего ничего взять. Но горе такого скоро проходило, так как из кладовых ему с избытком навертывали упущенное.

На первый день праздника, после церкви, мы с женой отправлялись на деревню и развозили скромные подарки: кому — чай и сахар, кому — ярлык на муку, кому — на дрова, кому — крупы, кому — говядины. Вечером елку посещали ряженые парни, молодые бабы, девушки,— все, нарядившись как могли, являлись погрызть орехов, поплясать и попеть. Костюмы незамысловатые: девушки в одежде братьев, братья в сестриных сарафанах, неизбежный медведь, мочальная борода, комедия волжских разбойников. На другой день обед бабам и обед на Новый год мужикам. Бабам со сластями, мужикам с водкой. Еще два-три вечера с ряжеными, и святки кончались.

Заботы о материальном благосостоянии делились на две части:

1) частные, имевшие характер филантропии, и

2) общие, имевшие целью улучшить общее благосостояние крестьян.

К частным относились поддержка и помощь увечным, старым, не имевшим ни роду ни племени, вдовам, солдатским женам, пока их мужья отбывали повинность. Сюда же относилась льготная поддержка — ссуда деньгами каждой семье в случае неожиданных расходов: свадьбы, падежа скота, пожара и прочее.

Общие меры, содействовавшие благосостоянию крестьян, заключались в следующем:

1) Ввиду необходимости ежегодной чистки леса, получался малоценный для меня материал — хворост, но для крестьян весьма ценный, как топливо. По соглашению с крестьянами, в указанные дни, весной и осенью, их допускали в лес, и они, чистя мне лес, приобретали себе отопление на зиму. Единственным обязательным условием было являться всей деревне враз, для облегчения надзора за правильною чисткой. Крестьяне относились замечательно добросовестно к тому, чтобы правильно и согласно указаниям чистить лес. Благодаря этой ничего мне не стоившей помощи я имел в три года несколько сот десятин прекрасно вычищенного леса.

2) Мои крестьяне, как уже известно, были малоземельные. Необходимость платить за каждую десятину

вынуждала их ограничивать себя, в чем только они могли. Необходимость ограничения отразилась, между прочим, на уменьшении выпуска, что в свою чередь повлияло на уменьшение количества лошадей и скота.

Вопрос об удобрении без скота сводился, таким образом, к нулю.

Чтобы дать крестьянам возможность не продавать своих телят, жеребят и прочей живности, я отвел им двести десятин выпуска, выговорив себе право уборки обществом пятнадцати десятин хлеба. Если перевести это на деньги, то десятина обходилась обществу по пятидесяти копеек, тогда как под хлеб ли, под сенокос ли я свободно мог получить на круг пять рублей за десятину. Но и против этой работы богатеи деревни восстали. Они просили натуральную повинность перевести в денежную, ссылаясь на то, что, как богатые, они держат много скота и на их часть ляжет значительная доля жнитва, а семьи у них небольшие. Бедные, напротив, стояли за натуральную повинность, так как на их долю приходилась ничтожная работа, для них не обременительная.

Я отказал богатым в просьбе на том основании, что плата за выпуск так низка, что для них, богатых, не составит особого труда нанять и поставить вместо себя жнецов.

3) Сдача земли, как она производилась раньше, описана в первой главе. Результатом такой сдачи было то, что богатые сидели на лучшей земле и из года в год богатели, а бедные, сидя на худшей, все больше и больше беднели. Ненормальность и несправедливость такого положения дел была очевидна. Выясняя себе причины, в силу которых она создалась, я остановился исключительно на следующем. С освобождения мои крестьяне вышли на сиротский надел. Первым последствием этого было ослабление общины. Когда же князевцы переписались в мещане, чтобы не платить подушных, община окончательно подорвалась, а с ней погиб единственный оплот против всякого рода кулаков. Подтверждением справедливости моего мнения служили соседние деревни, вышедшие на полный надел, где, хотя и существовало кулачество, но в несравнимо более слабой степени, чем у князевцев. Благосостояние этих крестьян было тоже неизмеримо выше князевского.

В силу всего сказанного, вопрос для меня становился ясным: рядом с удобрением, правильною пашней и прочими нововведениями необходимо было возвратить князевцев к их прежнему общинному быту. Я сознавал весь труд выполнения взятой на себя задачи, сознавал, что двадцать пять лет в жизни народа что-нибудь да значат, понимал то противодействие, которое встречу как со стороны кулаков деревни, так и со стороны обленившихся и опустившихся бедняков, но иного выхода для того, чтобы поднять благосостояние крестьян, я не видел. Я считал, что отдельные, единичные усилия — так или иначе поставить вопрос улучшения — не приведут ни к чему,— нужно всю деревню заставить действовать, как один человек.

Для этого, конечно, прежде всего нужна была сила. Она у меня имелась. Моя власть над ними была почти безгранична,— только воздуха не мог их лишить, а остальное все в моих руках, кладбище — и то мое, так что мужики часто шутили:

— Мы и до смерти и после смерти ваши.

Силу употреблять для себя — это гнусно. Сила для их блага, когда доводы не действовали,— это единственная возможность достигнуть цели.

Вопрос был только в том, правильно ли я рисовал себе картину, и действительно ли так необходимо было заставлять крестьян отрешиться от их способа ведения дела? Вот факты.

Наступила весна. Моя земля вспахана с осени, и, чуть только сошел снег, я, по примеру немцев, приступил к посеву.

У мужиков земля была не только не вспахана, но и не разделена. Это произошло оттого, что князевцы не имели обыкновения брать землю с осени, мотивируя тем, что до весны-де далеко, кто там жив еще будет! Между тем осенняя пашня и ранний посев в наших местах крайне необходимы. Весь урожай у нас исключительно зависит от влаги: сухой год — нет хлеба, сырой — изобилие. Так как сухих годов несравненно больше, чем сырых, то понятно, как важна забота о сохранении влаги в земле. На земле, вспаханной с осени, влага гораздо лучше держится, чем на непаханой: снег весной гораздо скорее сходит (черная

поверхность паханого слоя поглощает больше тепла, чем покрытая жнивьем [1].

Скоро сошедший снег дает возможность на неделю раньше начать посев. К периоду засухи ранний посев отцветает и начинает наливать — засуха ему, таким образом, на пользу, поздний же посев ко времени засухи только собирается цвести и крайне нуждается в дождях именно в такой период, когда дождей обыкновенно уже не бывает. Вред позднего посева заключается еще в том, что, пропустив период весенней влаги, приходится высевать семян значительно больше, так как часть их от засухи пропадает. В то время как немцы сеют восемь пудов ярового на десятину, крестьяне высевают двенадцать — пятнадцать пудов. Результат такого густого посева двоякий: если случится после посева теплое и дождливое время, то все зерна взойдут, посев выйдет загущенный,— он или поляжет преждевременно, или пригорит, и в обоих случаях зерно получится тощее, плохое, легковесное. Если же после посева наступит холодное или теплое время без дождей, то, пока зерно соберет нужную ему влагу, пока взойдет, его заглушит сорная трава.

Чтобы дать наглядное понятие, что составляют для крестьян эти излишне высеваемые пять пудов на десятину, которые в большинстве случаев не только гибнут бесследно, но и приносят положительный вред, укажу на следующий факт. В моем имении высевается ежегодно всеми сеющими на моей земле деревнями таких излишних пудов до трех тысяч, что составляет, при стоимости весной пуда до семидесяти копеек, около двух тысяч рублей. Сумма эта, бросаемая ежегодно не только на ветер, но и в прямой ущерб делу, превышает сумму всех земских и государственных повинностей, платимых пятью деревнями.

Напрасно думают, что мужик хорошо знает свойства своей земли и условия своего хозяйства; он полный невежда в агрономических познаниях и страшно в них нуждается. Отсутствие знания, апатия к своим интересам, отсутствие правильного понимания условий, в которые он поставлен, поразительны.

---

[1] Причем, вода не сбегает, как она сбегает по гладкой жниве, а тут же, вследствие неровности пашни, задерживается и проходит в землю. (*Прим. автора.*)

Здесь крестьянам необходима энергичная посторонняя помощь: сами они не скоро выберутся из своего застоя. Несколько лет тому назад, во время ветлянской чумы, полиция настояла, чтобы навоз вывозился в поле. Это поле, куда свозился навоз, и до сих пор отличается особыми урожаями, и все крестьяне говорят, что это от навоза.

— Почему же не продолжаете назмить?

— Разве всех сообразишь? — отвечают.— Мир велик, не один человек.

Или другой пример: ежегодный передел земли. Это вопиющее зло. Земля, как известно, требует тщательной обработки. Хлебородность правильно обрабатываемой из года в год земли с каждым годом растет. При ежегодном же переделе хорошо обработанная в этом году земля попадает на будущий год к бессильному бедняку-мужику, который, при всем желании, ничего другого не сделает, как только изгадит ее,— и сбруя плохая, и снасть плохая, и лошаденка плохая, да и сам-то от ветру валится.

— Почему же вы не разделите землю на года?

— Как ее разделить? Каждый год новые прибавляются. Мир велик, не один человек,— не сообразишь.

Говоря о причинах неудовлетворительного положения крестьян, для выяснения последующего, я должен коснуться одной, которая имела место только по отношению к таким крестьянам, какими были мои князевцы, то есть к малоземельным.

Я уже упоминал, что часть князевцев, когда им пришлось жутко, мечтала выселиться; эта возможность выселения твердо сидела в головах всех князевцев. Положим, что они никогда не расстались бы со своими местами, но уже одна мысль, что они могут уйти, деморализующе действовала на них. Сами не замечая, они втянулись в жизнь людей неоседлых. Лишь бы до весны, а с весны лишь бы до осени. К этой возможности выселиться незаметно приспособлялось все хозяйство; к чему лишний посев, лишний теленок, лошадь, когда осенью, может быть, все уйдут на новые места?

В силу всего вышесказанного я пришел к заключению, что для подъема материального благосостояния князевцев необходимо, чтобы они согласились на следующие четыре мероприятия:

1) Князевцы должны взять по контракту на двенадцать лет, за круговою порукой, столько земли, сколько им нужно.

2) Земля должна быть разделена между отдельными лицами раз на все двенадцать лет совершенно равномерно по качеству как между богатыми, так и между бедными.

3) Ближняя земля должна удобряться, для чего весь навоз деревня должна вывозить зимой на ближайшие паровые поля.

4) Земля под яровое должна пахаться с осени.

Придя к этим выводам, я через год после моего приезда решил действовать. Предварительные переговоры ни к чему не привели.

Чичков, один из самых богатых мужиков, все силы напрягал, чтобы доказать мне и мужикам неосновательность моих положений. Я прибегнул к силе. Собрав сход, я сказал крестьянам приблизительно следующую речь:

— Вот что, старики. Вижу я, что от хозяйства вы вовсе отбились. Так жить нельзя. Пахать не во-время, сеять не во-время, да и сеять-то по какой-нибудь десятинке в поле — и себя не прокормишь и землю только измучишь. Либо вы принимайтесь за дело как следует, как отцы ваши принимались, либо отставайте вовсе от земли. Тогда я один буду сеять, а вы у меня в работниках будете.

Толпа зашумела.

— Нам нельзя без земли.

— Ты сегодня здесь, завтра нет тебя, а мы чего станем делать? Нам нельзя отставать от земли.

— Хорошо, господа, вижу, что у вас еще не совсем пропала охота к земле, и очень рад этому. В таком случае, принимайтесь за дело как следует.

И я объяснил мои условия. Мужики угрюмо молчали.

— Даю вам три дня сроку,— сказал я.— А теперь ступайте с богом.

Все три дня с наступлением вечера деревенская улица наполнялась народом. Из окон моего кабинета слышен был отдаленный крик и гул здоровых голосов, говоривших все враз. Накануне назначенного срока, когда собравшаяся было на улице толпа уже разбрелась, я сидел у окна кабинета и пытливо всматривался в темнеющую

даль деревни. Там и сям зажигались огоньки в избах. «На чем-то порешили?» — думалось мне, и сердце невольно сжималось тоской. Я чувствовал, что из своих условий, взвешенных и обдуманных, я ничего не уступлю, даже если бы пришлось прибегнуть к выселению всей деревни. Я утешал себя, что раз они не пойдут на мои условия, то рано или поздно необходимость все равно вынудит их искать других мест. Но рядом с этим утешением подымался невольный вопрос: имею ли я право ставить их в такое безвыходное положение как выселение, разрыв со всем прошлым? Я должен признаться, что чувствовал себя очень и очень нехорошо, тем более что и жена была против крутых мер.

Пришли приказчики: Иван Васильевич и Сидор Фомич.

— Садитесь, господа,— проговорил я, с неохотой отрываясь от своих дум [1].

— Чичков пришел,— доложила горничная.

— Зовите.

Вошел Чичков, огляделся и испуганно остановился.

— Чего тебе?

— Старики, сударь, прислали,— проговорил он, слегка пятясь к двери по мере моего приближения. Он, очевидно, боялся, чтобы я, как, бывало, покойный Юматов, как-нибудь не съездил ему в зубы.

— Да ты чего пятишься? — насмешливо спросил я.

Чичков покраснел, тряхнул волосами и, задетый, ответил:

— Я ничего-с.

— А ничего, так и стой, как все люди стоят. Зачем тебя прислали?

— Прислали сказать, что не согласны.

— Почему же не согласны? — угрюмо спросил я.

— Не согласны, и баста!

— Значит, за меня уступают землю?

— Нет, как можно? — испугался Чичков.— Без земли что за мужик! Только на ваших условиях не желают.

— Почему же не желают?

---

[1] Мы начали обсуждать, как распределить работы завтрашнего дня. *(Прим. автора.)*

— Да господь их знает. Стоят на своем: не желаем, и баста! Ведь, сударь, вы нашего народа не знаете,— одна отчаянность и больше ничего. За всю вашу добродетель они вас же продадут. Помилуйте-с! Я с ними родился и всех их знаю. Самый пустой народ. Ничего вы им не поможете,— все в кабак снесут и вас же попрекнут.

Я задумался, а Чичков вкрадчивым голосом продолжал:

— Право, сударь, оставьте все по-старому, как было при Николае Васильевиче. Забот никаких, денежки одним днем снесут. А этак, узнают вашу добродетель, перестанут платить.

— А ты откуда узнал мою добродетель?

— Да ведь видно, сударь, что вы барин милостивый, простой, добродетельный. А с чего бы вам затевать иначе все это дело? Только ведь, сударь, не придется. Помяни меня, коли не верно говорю.

— Верно, верно! — умилился Сидор Фомич.

— А ты с чего? — накинулся я на Сидора Фомича.— Тот-то знает, куда гнет, а ты с чего?.. Вот что, Чичков,— обратился я к Чичкову,— кланяйся старикам и скажи, что я завтра покажу им свою добродетель.

Чичков сперва съежился, но при последней фразе глаза его злорадно загорелись.

— Не понял что-то, сударь... как передать прикажете?

Но мое терпение лопнуло.

— Ступай! — крикнул я, взбешенный.

По его уходе я отдал следующее распоряжение:

— Завтра, Иван Васильевич, работ не будет. Вы со всеми рабочими верхом оцепите деревню и ни одну скотину из князевского стада не пропускайте на выпуск до моего распоряжения.

Сидор Фомич тихо вздохнул.

— Не знаю, как и посоветовать вам,— заметил Иван Васильевич.

— Никак не советуйте,— это мое дело. Иначе нельзя.

— Как прикажете.

На другой день меня разбудил страшный рев скота. Я подбежал к окну, и моим глазам представилась следующая картина. На другой стороне реки, у моста, толпилось князевское стадо. Скотина жадно смотрела на вы-

пуск, расположенный за мостом, и неистово ревела. Иван Васильевич с пятнадцатью верховыми стоял на мосту и мужественно отражал отдельные попытки, преимущественно коров, пробиться через сеть конных.

Во дворе толпилась вся деревня. Я поспешил одеться и выйти. При моем появлении толпа заволновалась.

— Пожалей, будь отцом,— заговорили они все вдруг.

Передние стали опускаться на колени. Картина была сильная, но я, преодолев себя, сурово проговорил:

— Встаньте.

И так как они не хотели вставать, то я сделал вид, что ухожу в комнаты.

Мужики поднялись с колен.

— Нечего валяться,— заговорил я так же сурово.— Хоть землю грызите, ничего не поможет. Или берите землю, или отказывайтесь.

— Нам нельзя без земли.

— Так берите.

— Батюшка,— заговорил Чичков,— дай нам недельку сроку.

— Минуты не дам,— вспыхнул я.— Ты мутишь народ. Ты в контракт не хочешь. Почему не хочешь?

— Не я не хочу, мир не хочет.

— Почему не хочет?

— Неспособно. Первая причина — выпуском обижаются, что работой назначили. Работа разложится по чередам,— иной одинокий, бессемейный, чередов много, а рук нет. Вторая причина — навозом обижаются: у кого много скотины да мало работников, только и будет работы, что навоз весь год возить.

— Теперь же ты вывозишь свой навоз на село, ведь лишних всего-то сто — двести сажен проехать дальше, не дальнее же поле я вам даю. А не хочешь назмить, я неволить не буду, но таким в ближних полях земли не дам, а посажу на дальние.

— На ближних-то сподручнее.

— А сподручнее, так вози навоз.

— Еще обижаются контрактом. Народ мы бедный, друг по дружке не надеемся. Год на год не состоит: черный год придет, чем станем платить? — вот и опасаемся, как бы по круговой поруке за шабра не пришлось платить.

— Хорошо. Я вот тебе какую уступку сделаю: укажи мне, за кого ты согласен поручиться, за остальных я сам поручусь.

Произошло нечто, чего я сам не ожидал. Чичков стал отбирать тех, на кого он надеялся. Из пятидесяти дворов образовалось две партии: одна ненадежная, счетом сорок четыре двора, а другая надежная, счетом шесть дворов. Сам Чичков, видимо, смутился результатом своего сортирования. Дружный смех еще больше смутил его. За смехом вскоре последовало выражение негодования со стороны ненадежных, так бесцеремонно забракованных богачами.

— Вы всегда так мутите,— попрекал один.

— Через вас все беды наши,— говорил другой.

— Вы с Беляковым по миру нас пустили,— попрекнул третий.

— Ври больше,— огрызнулся Чичков.

Слова Чичкова попали искрою в порох. Долго сдерживаемое озлобление с силой прорвалось наружу.

Брань на Чичкова и богатых посыпалась со всех сторон:

— Сволочь!

— Мироеды!

— Коштаны!

— Да чего смотреть на них? — выдвинулся из толпы Петр Беляков.— Надо дело говорить! — Его черные глаза метали искры.— Вчера вечером совсем было наладились идти к твоей милости, а кто расстроил? Все они же. «Постойте, старики, я еще сбегаю к барину,— поторгуюсь, не уступит ли?» Приходит назад. «Идет, говорит, уломал барина; стал сомневаться. Как станем дружно, сдастся, некуда деться-то. Землю-то не станет есть».

— Чичков вчера принес мне отказ от вас,— заявил я.

Это было новым сюрпризом для толпы и новым поводом сорвать на Чичкове накипевшее сердце. Они так насели на него, что я уж стал бояться, как бы они бить его не стали. Кое-как толпа успокоилась, наконец.

— Ах, юла проклятая!

— Ну и человек!

— Всем бы прост, да лисий хвост!

И все в таком роде. Чичков, прижатый к стене дома, молчал. Особого страха в лице не было, юркие глазенки

его бегали, с любопытством останавливаясь на каждом говорившем о нем, точно разговор шел о ком-то совершенно для него чужом.

— А вы будет,— остановил толпу богобоязненный и строгий мужик Федор Елесин.— Дело делать пришли, а не лаяться перед его милостью.

— Так чего же, братцы? — заговорил Петр Беляков.— Надо прямо говорить, барин милость нам оказывает, а мы не знаем, с чего упираемся.

И, обратившись ко мне, решительно проговорил:

— Пиши мне две десятины в поле.

— И мне две.

— И мне!

— И мне!

— Сейчас стол велю вынести.

И под этим предлогом я ушел в комнаты поделиться с женой неожиданною радостью. Жена сидела в спальне и, оказалось, слышала весь разговор. Окна были открыты, но жалюзи затворены. Это давало возможность видеть все происходившее на дворе, не будучи в свою очередь видимым. Когда я вошел, жена приложила палец к губам.

Со двора доносился тихий, ровный, спокойный голос Чичкова:

— Залезть-то залезли, а назад-то как?.. Видно, не мимо говорится: живем, живем, а ума все нет. Оплел он вас в чувашские лапти,— с места в неволю повернул. Дали вы ему свою волю, отбирать-то как станете? Хотел миру послужить, облаяли, как пса последнего. Бог с вами. Мне ничего не надо. Уложился, да и съехал — свет не клином сошелся. Вам-то как придется.

Толпа, за минуту перед тем готовая его разорвать, хранила гробовое молчание.

После нескольких секунд молчания опять раздался голос Чичкова:

— Не губите себя, старики! Время есть еще — опомнитесь, детей своих пожалейте!

Я поспешил во двор.

При моем появлении Чичков смолк и с невинною, простодушною миной смотрел мне в лицо. По наружному виду можно было подумать, что он не только не говорил, но и не шевелился.

— Дьявол ты, а не человек,— обратился я к нему,— слышал я в окно твои подлые речи. О себе только думаешь, тебе бы хорошо было. Да не то время, нет больше Николая Васильевича, не с кем морочить народ; прошло время, когда за пуд ржаной муки тебе по десятине жали, тогда за бутылку водки ты на лучшей земле сидел, а народ бедствовал. Не будешь торговать чумною скотиной. Я за народ — и весь перед богом. Верой и правдой хочу помочь тем, которые века работали на моих отцов, дедов и прадедов. Тебе не смутить их: за каждое свое слово дашь отчет людям и богу. Будет и тебе мутить. Вот тебе моя воля: нет тебе ни земли, ни лесу, ни выпуска — иди на все четыре стороны. Месяц тебе сроку даю, и чтоб через месяц духу твоего не было. Ступай!

Чичков слушал все время с опущенною головой.

Когда я кончил, он высоко поднял голову, вздохнул всею грудью и проговорил спокойным, уверенным тоном:

— Спасибо, сударь, и на этом.

Он низко поклонился и, держа шапку подмышкой, неспешным шагом пошел со двора.

Один за другим потянулись за своим коноводом богатеи.

Толпа угрюмо молчала.

— Скатертью дорога,— проговорил вслед уходившим Петр Беляков.— Добра мало видели от них.

— Господь им судья,— заметил Федор Елесин.—Ушли и ладно. Проживем и без них.

— Проживем,— весело согласился Петр Беляков.

— Сволочь народ,—сказал Андрей Михеев и плюнул.

— А ты будет,— остановил Федор.

Я стал записывать, кому сколько десятин.

Стадо выпустили на выпуск. Скотина быстро разбрелась по лугу, жадно хватая по дороге траву.

Народ повеселел.

— Ишь как хватает,— заметил Керов, мотнув головой по направлению выпуска.— Проголодалась.

— Напугал ты нас вовсе, сударь,— сказал, обращаясь ко мне, добродушный Прохор Ганюшев.

— Коли не напугал,— подхватил Керов.

Наступило молчание. Я продолжал записывать.

— А богатеи, мотри, и вправду уйдут,— заметил кто-то.

— А хай им пес,— отозвался Андрей Михеев.

— А уж вертелся Чичков — и туда и сюда,— начал опять Керов.— «Старики, я с хозяюшкой посоветоваться сбегаю», а сам забежит за угол, постоит-постоит и назад: «Жена не согласна».

Керов изображал Чичкова очень удачно и комично.

Толпа наградила его смехом.

— Даве бают,— заговорил Андрей Михеев, понижая голос,— богатеи промеж себя: «А он,— это про вашу милость, значит,— как приехал, тогда еще сказал: не будет у меня богатых».

Толпа насторожилась и пытливо уставилась на меня.

— Я никогда этого не говорил. Я сказал, что у меня бедных не будет. Напротив, богатого мужика я уважаю. Если он богат, значит он не пьющий, заботливый, трудолюбивый. Только не хочу я, чтобы он богател, отнимая у бедного. С земли бери — что́ больше, то лучше, выхаживай ее. Тут ты сразу возьмешь сорок, пятьдесят пудов лишних, но не выжимай последней копейки у бедного.

— Видишь, что баит,— заметил добродушный Прохор.

— А сказывают, быдто земля наша не принимает навоз,— сказал Петр Беляков.— Нужен ишь навоз песчаной земле, а наша черная.

— Ты вот черный, а я русый, у обоих брюхо, и оба мы есть хотим. Так и земля: всякой навоз нужен, только песчаной чистый нужен, а черной — соломки побольше, потому что в черной силы и без того много, да только не перегорает она как следует, от навоза же она горит лучше. Для этого же ее нужно почаще перепахивать.

— Этак и станем пахать да пахать, а другие работы?

— Поменьше сей.

— На что̀ уж мало сеем.

— Вот в прошлом году я двоил,— говорил староста,— а Федька Керов в одноразку пахал. У него непрорезная рожь, а у меня вовсе плоха.

— То-то оно и есть,— заметил Федор Елесин.— Паши ты ее хоть по пяти раз, а не даст бог, ничего не будет. А раз вспаши, да с молитвой — откуда что возьмется.

— Молится-то ведь и худой и хороший, и ленивый и прилежный, кого же бог слушает больше? — спросил я.

— Всех слушает,— сурово заметил Федор.— Разбойника в последнюю минуту и то послушал.

Я невольно смутился.

— По-твоему, что хороший, что худой — одна честь?

— Не по-моему, а по-божьему,— кто как может.

— По-нашему, бают старики,— заметил молодой рябой Дмитрий Ганюшев,— бог даст — и в окно подаст. Захочет — и на несеяной уродит.

— Ну, так вот не паши свой загон,— заметил я.— Посмотрю, много ли у тебя уродит.

— А что ж? — вступился Федор.— Лет пять назад посеял я рожь. Убрал. На другой год не стал пахать — болен был, прихожу на поле, ан, глядь, у меня непролазный хлеб,— падалицу дал господь.

— То-то вот оно и есть, на все божья воля: волос с головы не упадет без его святой воли.

— Против этого я не спорю. Только я говорю: бог труды любит. В поте лица своего добывайте хлеб свой. Для трудов и на землю мы пришли, так и надо трудиться... Только за труд и награда от бога приходит, а помрем, тогда и за добрые свои дела награду получим.

— Где уж нам,— заметил Керов,— здесь всю жизнь работаем на бар и там, видно...

Керов подмигнул соседям.

Мужики лукаво уставились на меня: знаю ли я, на что намекал Керов?

— Ты что ж не кончаешь? — спросил я.— И там, видно, тоже будете работать: дрова для бар таскать? Так, что ли?

— Я не знаю,— смутился Керов.

— А я тебе на это скажу: какие баре и какие мужики.

— Верно,— согласился Федор Елесин.— Богатый да милостивый — оба царства царствует.

— Верно,— согласилась толпа.

— А вот Власов все баил,— начал опять Керов,— мне бы одно царство поцарствовать, а в другом мной хоть тын подопри.

Власов — мужик соседней деревни, умерший от запоя.

— Одно уж он царствовал,— вставил Федор Керов.— Как другое-то придется?

— Правда, что его вырыли и в озеро перетащили? — спросил я.

— Правда. Засуха стала, ну и вырыли. Как опустили в озеро, так и дождь пошел.

— Экие глупости! — заметил я.— Озеро только изгадили, какая рыба была.

— Рыба еще лучше станет, жи-и-рная,— заметил Керов.

— Ты, что ль, есть ее станешь? — спросил я.

— А хай ей,— отплюнулся Керов.

— Толкуете о боге,— заметил я,— а делаете дела такие, которые делались тогда, когда истинного бога не знали, жили, как чуваши, на чурбан молились. Тогда и таскали опойцев в пруд, а вы и до сих пор отстать от этой глупости не можете. Грех это, тяжкий грех!

— По-нашему, быдто нет греха.

— По-нашему! — передразнил я.— А ты батюшку спроси.

Перепись кончилась.

— Ну, спасибо, старики,— сказал я, вставая.— Видит бог, не пожалеете, что согласились на мою волю. Станете по крайней мере в одну сторону думать.

— Знамо, в одну. Теперь уж некуда деваться.

— Начинайте с богом новую жизнь. С божьею помощью, с веселым сердцем принимайтесь за работу. А чтобы веселее было, вот что я вам скажу кстати. Строенья ваши ни на что не похожи. Кто желает новые избы или починиться, для тех я назначу в Поляном продажу леса. Против других деревень уступаю вам третью часть, а деньги зимой работой.

Мужики низко поклонились.

— Ну, дай же и тебе господь всего за то, что ты нас, бедных, не оставляешь. И тебе мы послужим.

— Спасибо вам, идите с богом.

Мужики нерешительно зашевелились. Я догадался, в чем дело, но промолчал. Андрей Михеев не вытерпел.

— На водочку бы,— заискивающим голосом проговорил он.

Грешный человек, не могу отказать русскому мужику в этой просьбе. Выдал на ведро.

И, боже, как весело зашумела толпа, сколько пожела-

ний и благословений посыпалось на меня! Вышла жена, и ее осыпали пожеланиями.

— Дети, настоящие дети,— говорил я жене, направляясь с нею в сад.

А на селе весь день не умолкал веселый говор. Наверное, к моему ведру прибавили несколько своих. Давно наступила ночь, а пьяная песня все еще не смолкала в селе. Когда мы собрались уже спать, у самой речки, на селе, какой-то пьяный голос, кажется, Андрея Михеева, прокричал:

— Нашему новому барину многие лета!

И другой пьяным басом:

— А ты будет.

Засыпал я с легким сердцем. Когда имеется в жизни определенная цель и все складывается на пути к ее достижению благоприятно, чувствуешь себя легко и вольно. Такие минуты переживаются редко, но, чтоб их пережить, не жаль годов труда и невзгод.

Засыпая, я переживал такую минуту. Мой дух, как орел, поднялся на недосягаемую высоту и оттуда обозревал будущее. Мне не жаль было, что я променял свое прежнее поприще на несравненно более скромное. Пусть там ждала меня, может быть, более или менее широкая деятельность в будущем, свидетелями ее были бы тысячи людей, служенье мое приносило бы пользу миллионам. Зато неизмеримое преимущество мое в этой новой моей деятельности состояло в том, что для служения миллионам есть много других, кроме меня, а для служения этим четыремстам человекам нет, кроме меня, никого.

Ушел я с прежней своей арены — и на смену мне явились десятки, может быть, более талантливых людей, тогда как здесь, уйди я — и некому заменить меня. И если после долгой жизни я достигну заветной цели — увижу счастье близких мне людей: моей семьи и трех-четырех сотен этих заброшенных, никому не нужных несчастных,— то я достигну того, больше чего я не могу и не хочу желать.

Да простит мне читатель, если я признаюсь ему, что в ту ночь я долго не мог заснуть, и подушка моя местами была мокрая от слез счастья и высшей радости, какая только есть на земле.

IV. ОТРЫВОЧНЫЕ ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯ НАД КРЕСТЬЯНАМИ

Отношение их к религии.— Отношения крестьян ко мне как к человеку и как к помещику.— Старания извлечь из меня возможную пользу.— Соседний священник.— Опыт со свиньями.— Рутинерство крестьян.— Петр Беляков.

В своих беседах и общениях с крестьянами я невольно знакомился с их внутренним миром. При этом знакомстве меня поражали, с одной стороны, сила, выносливость, терпение, непоколебимость, доходящие до величия, ясно дающие понять, отчего русская земля «стала есть». С другой стороны — косность, рутина, глупое, враждебное отношение ко всякому новаторству, ясно дающие понять, отчего русский мужик так плохо живет.

Жили на деревне в одной избе два брата — один женатый, другой холостой. У женатого пятеро детей, хозяйка, он один работник; неженатый брат живет в семье, но помогает через силу,— он и стар и болен. Заболевает и умирает работник. На руках старика остается семья, которую он берется прокармливать своими слабыми трудами. Сбережений, запасов — никаких. В избе ползают полуголые ребятишки, все простуженные; плачут; изба холодная, грязь, спертый воздух, теленок кричит; умерший лежит на лавке, а у старика на лице такое спокойствие, как будто все так и должно быть.

— Трудно тебе будет сам-восемь кормиться? — спрашиваю я.

— А бог? — отвечает он.

Бог все: голодная смерть смотрит в развалившееся окошко гнилой лачуги; умирает последний кормилец; куча ребятишек, невестка недужная, похоронить не на что, а он себе спокойно на вопрос участия отвечает: «А бог?» — и вы слышите силу, непоколебимость, величие, непередаваемое словами.

Приходит весна. Давно отсеялись люди, а мой старик все тянет.

— Ты что же тянешь?

— Да чего станешь делать? Мой-то загон на уклон от солнца,— снег и не тает. Стает — дня не опущу.

— Да ты золой его посыпь, как я сделал,— в два дня пропадет снег.

Мнется.

— По-нашему, это бы́дто против бога. Его святая воля снег послать, а я своими грешными руками гнать его буду.

Так и дождался, пока снег сам собою сошел, упустив хорошее время для посева. Урожай вышел, конечно, незавидный.

— Его святая воля!

— Да ты у батюшки спроси: грех это или нет?

— Хоть спрашивай, хоть не спрашивай, это как кому господь на душу положит.

Природа не терпит пустоты: все то, что необъяснимо, с одной стороны, что не подходит под понятие о боге, с другой — заполнено у крестьян ведьмами, русалками, домовыми, лешими и пр.

Кто не слыхал, например, об этом дедушке домовом, этом добродушном, но капризном покровителе всякой семьи? В каждом доме свой домовой. Он сидит в углу, в подполье. Переходишь в другой дом, надо позвать с собой и своего домового. Если старый владелец забыл позвать, обиженный домовой остается на своем месте и крайне враждебно встречает нового сотоварища. Между ними затевается страшная война. Посуда летит с печки, ухваты носятся по комнатам; в избе визг, писк. И все это продолжается до тех пор, пока прежний хозяин не явится и честно не попросит своего дедушку домового к себе на новоселье,— тогда все прекращается.

Домовой — покровитель семьи и всегда предсказывает будущие радости и горе. В таких случаях, за ужином обыкновенно, в переднем углу несколько дней подряд раздается какое-то мычание. Старший в семье спрашивает:

— А что, дедушка, к худу или к добру?

Если к худу, домовой мычит: «ху»; если к добру он мычит: «ддд».

Спросишь:

— Что же, по-твоему, домовой — черт?

Обидится: зачем черт — он худого не делает.

— Ангел, значит?

Плюнет даже.

— Один грех с тобой. Какой же ангел, когда он мохнатый.

Крестьяне с недоумением и недоверием относились к моей жене и ко мне. Вопрос, с какою целью мы так заботимся о них, долго был для них необъяснимою загадкою; некоторое время они успокоились на том, что я желаю получить от царя крест. Но так как время шло, а я креста не получал, то остановились на следующем:

— Для душеньки своей делает. О спасении своем заботится.

На том и порешили. Богатые, впрочем, которые вскоре после моего приезда ушли на новые земли к чувашам, не очень-то верили моим заботам о душеньке и, прощаясь, злорадно говорили остающимся:

— Дай срок, покажет он вам еще куку!

Как бы то ни было, но отношения крестьян к нам со времени приезда постепенно значительно изменялись. Это уже не были те, глядящие исподлобья, неумытые, нечесаные медведи, какими они показались нам при первом знакомстве. Теперь их открытые, добродушные лица смотрели приветливо и ласково. Их манера обращения со мной была свободная и, если можно так сказать, добровольно-почтительная. В отношениях к нам молодежи была особенно заметна перемена. Старики все ж не могли отделаться от некоторого впечатления, получавшегося от слова «барин». У молодых этого слова в лексиконе не было. Сперва они, с открытым ртом, без страха, но с большим любопытством, смотрели на нас, как на каких-то зверей. Но постепенно любопытство сменялось сердечностью и доверием, очень трогавшим жену и меня. Как на помещиков князевцы смотрели на нас так, как смотрят вообще все крестьяне. Прежде всего они были уверены, что в самом непродолжительном времени земля от бар будет отобрана и возвращена им, как людям, единственно имеющим законное на нее право. Обыкновенно такое отобрание ожидалось ежегодно к Новому году. Крестьяне нередко обращались ко мне за разъяснением по этому вопросу. Мои доводы и убеждения не приводили, конечно, ни к чему. Мне просто не верили, так как не в моих-де интересах было открывать им истину. В силу убеждения, что земля и лес только временно мои, с их стороны не считалось грехом тайком накосить травы, нарубить лесу, надрать лык и прочее.

— Не он лес садил, не сам траву сеял,— бог послал на пользу всем. Божья земля, а не его.

— А деньги-то за землю ён платил?

— Кому платил? чать, божья земля. Кому платил, с того и бери назад, а богу денег не заплатишь. Хоть лес взять, к примеру. Не видали его, не слыхали николи, вдруг, откуда взялся: «Мой лес». А ты всю жизнь здесь маячишься, на твоих глазах он вырос: «Не твой, не тронь». Он его растил, что ль? Бог растил! Божий он и, выходит, на потребу всем людям. Ты говоришь «мой», а я скажу «мой». Ладно: днем твой, а ночью мой.

Таким образом, помещик в глазах крестьян — это временное зло, которое до поры до времени нужно терпеть, извлекая из него посильную пользу для себя. А извлекать пользу крестьяне большие мастера. Мужик не будет, например, бесцельно врать, но, если этим он надеется разжалобить вас в свою пользу, он мастерски сумеет очернить другого так, что вы и не догадаетесь, что человек умышленно клевещет. Как-то, на первых порах после моего приезда, приходит один из крестьян соседней деревни к моей жене полечиться. Пока получал лекарство, он успел рассказать, что женил сына, что батюшка за свадьбу взял у него корову, которая стоит на худой конец двадцать пять рублей, что этим он совершенно разорился, что, вместо лесу, который ему до зарезу нужен был, он должен был купить корову, и как перебьется теперь в своей ветхой избе — и ума не приложит. Кончилось тем, что нужный лес мы ему отпустили в кредит. Так я и записал, что сосед священник — порядочный взяточник, что и высказал как-то нашему священнику. Наш священник, молодой человек, страшно возмутился:

— Помилуйте, это мой товарищ, я головой отвечаю за него, что больше пяти рублей он за свадьбу не берет.

Он настоял на том, чтобы проверить заявление мужика. Нечего было делать, оделись мы и поехали к соседнему священнику. Нас встретил молодой, благообразный батюшка. Вся обстановка его немногим отличалась от зажиточной крестьянской. Молодую жену его мы застали за доением коров. Она же поставила нам самовар и подала его.

— Извините, пожалуйста,— объяснил батюшка,— прислуги не держим, не на что.

Познакомившись ближе, я действительно убедился, что прислугу держать не на что, так как весь доход священ-

ников в наших глухих местах не превышает трехсот рублей в год.

Когда батюшка узнал причину нашего приезда, он очень добродушно рассмеялся и объяснил нам, в чем было дело: он сменялся с крестьянином коровами, причем корова крестьянина стоила рубля на четыре-пять дороже священниковой. Мы посмотрели и корову и поехали к тому мужику, который наврал. Провожая нас, батюшка сказал на прощанье:

— К крестьянам нельзя строго относиться, что они обижаются на нас за поборы. Как бы они малы ни были, они для них потому тяжелы, что осязательны и ложатся неравномерно. Своему старшине, писарю они платят несравненно больше, но это не ощутительно для них, потому что плата равномерная, а потому сравнительно и незначительная. Необходимость поборов — большое зло: она унижает нас, лишает должного авторитета, и все наши старания на общую пользу в глазах крестьян сводятся на нет.

Мужик, не ожидая нашего визита, очень смутился и чистосердечно покаялся в своей вине. Мы осмотрели корову и должны были сознаться, что с виду разницы между обеими коровами не было никакой. Мужик все время самым чистосердечным образом каялся и извинялся. Когда мы сели, он еще раз чуть не в ноги поклонился нам, проговорив с самым сокрушенным видом:

— Простите, Христа ради, меня, окаянного. Леску нужно было во как, а негде взять. Думаю, не пожалеет ли барин. Уж я батюшке послужу за свой грех.

Стремясь к извлечению пользы из временного зла — помещика, и князевцы, а с ними и соседние деревни старались извлечь из меня все, что могли. То, что давалось добровольно, они брали, а сверх этого старались выпросить еще. Наверное, можно было сказать, что каждый из окружавших меня крестьян,— а их было несколько сот,— наверное, несколько раз в год придумывал какую-нибудь выгодную для себя комбинацию. Я с удовольствием шел на такие сделки. У меня телка, у него бычок; у того жеребая кобыла, у меня мерин, годный в тяжелую работу; другому, наоборот, нужна кобыла на племя. Я любил следить в это время за крестьянином: тут он весь, вся его нужда, все его богатые способности, страстное желание и бессилие вырваться из своей безвыходной бедности.

Для меня все эти сделки были безразличны. Вырастет и телка, вырастет и бычок — оба пойдут или на мясо, или в пашню.

Иногда со всею своею наукой я попадал в порядочный просак. Пришел раз мужик Дмитрий продавать свинью. Завод свиней я завел случайно, в силу следующих обстоятельств: к храмовому празднику прасолы наезжали из города и за бесценок, зная, что крестьяне к этому дню нуждаются в деньгах, скупали свиней на деревне. Разница в цене получалась значительная: к рождеству пуд свиного мяса доходил до трех рублей, а в это время прасолы покупали не дороже одного рубля пятидесяти копеек за пуд. Для противодействия прасолам я решил завести завод и сам скупал у мужиков свиней процентов на шестьдесят дороже против прасолов. Надо признаться, что аферы со свиньями были одни из самых неудачных для меня. Приходилось полагаться на личный опыт, на глазомер, и я всегда ошибался себе в убыток. Наконец, я решил выработать какое-нибудь определенное мерило при покупке свиней, а до выяснения себе этого мерила остановился с покупкой. Поэтому я отказал мужику, предлагавшему мне свинью.

Мужику нужны были деньги, он, видимо, не располагал уехать от меня, не продав свиньи.

— Ну, цену сбавьте,— приставал он ко мне.— Деньги больно нужны,— сивка оплошал, менять охота, а придачи нет.

— Вот разве как,— согласился я, наконец.— Продай мне свинью по живому весу.

Мужик озадачился, помолчал и, ничего не сказав, ушел. Я рад был, что отделался от него; смотрю, на другой день гонит свинью.

— Надумал? — спрашиваю.

— Да чего делать, деньги уж больно нужны.

Мне стало немного совестно.

— Ну, бог с тобой,— говорю я.— Придется, верно, тебе прибавить.

— Ну, дай тебе бог здоровья,— говорит мужик, кланяясь,— известно, наше дело темное, чего мы знаем?

Стали весить свинью. Каково же было мое удивление, когда свинья, с виду не более четырех пудов, вытянула семь. Смотрю на мужика, мужик потупился и не глядит.

— Признавайся, свесил свинью прежде, чем пригнал ко мне?

Мнется.

— Ну, признавайся, от своего слова не отстану.

— Виноват, как пришел от тебя, первым долгом свесил.

— Да уж говори все,— с сердцем обратился к нему мой ключник Сидор Фомич.— Солью, чать, кормил, чтобы водицы доотвалу напилась. А свинья тут ведра два выпьет,— сказал он, обращаясь ко мне.

Мужик исподлобья посматривал на меня, но, видя мою благодушную физиономию, решился признаться до конца.

— Грешен. Покормил с вечера маленько солью, а как гнать к тебе, напоил болтушкой.

— То-то болтушкой,— волновался Сидор Фомич.— Поленом бы вас за такие дела.

Заплатил я мужику, утешая себя тем, что за всякую науку платят.

Крестьянин страшный рутинер. Много надо с ним соли съесть, пока вы убедите его в чем-нибудь. Пусть будут ваши доводы ясны, как день, пусть он с вами совершенно согласится и пусть даже сделает тут же какой-нибудь сознательный вывод из сказанного вами,— не верьте ничему. Пройдет некоторое время, и ваши внушения, как намокшее дерево, бесследно потонули в его голове. И наоборот: все то, от чего он с виду так легко, кажется, отказывается, очень быстро снова выплывает на поверхность, как пузырь, который до тех пор будет под водой, пока ваша рука тянет его вниз,— пустили, и он снова наверху. Я не хочу сказать, что нельзя убедить в конце концов крестьян в истине,— можно; но это надо доказать ему не одними только словами, а и делом, многолетним опытом.

Пристал я весной к одному мужику, Петру Белякову, пахавшему свой загон:

— Почему с осени не вспахал?

— По нашим местам, сударь, осенняя пашня не годится.

— Почему не годится?

— Сырости мало.

— По-твоему, на моей пашне сырости меньше, чем у тебя?

— Как можно, много меньше.

Рассердился я, взял его лошадь за повод, завел в свой начинавший всходить посев и приказал ему пахать.

— Да что же посев-то гадить?

— Ничего,— отвечал я,— не посев дорог, а правда дорога.

Запустил Петр соху в мой посев и достал не сырую землю, какой была его, а чистую грязь.

Петр ничего не сказал, только тряхнул головой и повел свою лошадь с моего загона. Через некоторое время зашел с крестьянами разговор об осенней пашне.

— Не годится,— заявил Петр, тряхнув головой и угрюмо уставившись в землю.

— Почему не годится?

— Сырости мало.

— А ты забыл, как грязь достал в моей пашне.

— Ну так что же? Год на год не приходится.

— Ну, так я теперь каждый год буду заставлять тебя пробовать мою осеннюю пашню,— рассердился я.

И действительно, на другой год после этого спора загнал я его на свою пашню и заставил пробовать.

— Ну что, и в этом году сырое?

— И в этом сырое,— отвечал, улыбаясь, Петр.

— Вот как лет десять подряд заставлю я тебя пробовать сырость моей пашни, так небось и детям закажешь, что осенняя пашня сырее.

V. СОСЕДИ

Белов, Синицын, Леруа и Чеботаев.— Заглазное хозяйство купцов и дворян.— Соседние деревни.— Успенка и Садки.

Для полноты очерка считаю необходимым коснуться окружавших меня землевладельцев. Одним из ближайших моих соседей был Белов. В момент моего знакомства с ним ему было пятьдесят три года. Около пятнадцати лет тому назад он приехал в свое имение и начал энергично хозяйничать: осушил большое болото, превратил его в пахотное поле, засеял льном, потом коноплей, завел систему и порядок в вырубке леса, выделывал из него столярный материал — доски, фанерки и прочее, устроил очень остроумную мельницу.

Но все эти улучшения в конце концов расстроили его дела. В одном недостаток опыта и знания, в другом отсутствие сбыта, в третьем отсутствие поддержки, кредита привели его почти к безвыходному положению. Для того чтобы существовать, необходимо было отрешиться от всех занятий и нововведений. Каждая копейка была на счету, и требовалась крайняя осмотрительность в расходовании ее, под страхом очутиться на улице без всяких средств. Выбора не было — и Белов решил побороть себя. В свое время, говорят, это был живой, энергичный человек. Все это давно прошло. Теперь он производит подавляющее впечатление заживо погребенного. Он почти не выходит из своего кабинета. Временами он точно просыпается, на мгновение увлекается, но сейчас же спохватывается и испуганно спешит замкнуться в себе. Отношение его к окружающему миру — мрачное и безотрадное. На мужика он смотрит, как на страшного, непонятного зверя, от которого можно всего ждать. Будущее рисуется ему так безотрадно, что он об одном только просит бога, чтобы ему не пришлось дожить до того, что будет. Он холостяк и, говорят, пьет.

Другой наш сосед, Синицын, был тоже старый холостяк. Этот, несмотря на свои семьдесят пять лет, не потерял веры ни в себя, ни в жизнь. Он до сих пор продолжал красить усы и волосы, продолжал изысканно любезничать с дамами, хотя очень часто уже не замечал беспорядка в своем костюме. Он гордился своим происхождением, воспитанием и университетским образованием. В молодости он служил в Петербурге, но в сороковых годах, после смерти отца, приехал в свое имение и с тех пор почти безвыездно жил в деревне. Человек он вздорный, несимпатичный, немножко тронутый, но вызывает невольное сочувствие своим полным одиночеством и беззащитностью. В свое время, говоряг, это была страшная сила и злой крепостник. С освобождением вся его деревня разбежалась, и живет он теперь совершенно один, наподобие щедринского дикого помещика. Бывать у него — пытка. Он весь пропитан всевозможными приметами и предрассудками. Как вошли, как сели, залаяли собаки при вашем появлении,— все это имеет то или другое значение, как для определения вашей личности, так и того, насколько вы полезный или вредный человек.

За лакея у него собственный побочный сын, о чем он, не стесняясь, говорит. Подают грязно, неопрятно, дотронуться противно. Облизать ложку с вареньем и сунуть ее назад в банку — это цветочки в сравнении с остальным.

Трудно верится, что в свое время это был изысканный франт. С первых же слов он начинает бесконечный рассказ о своих врагах, о тайных подпольных кознях, которые ему строят все и вся. Оказывается, что все его знакомые, все, хоть раз его видевшие, все, имевшие какое-нибудь когда-либо к нему отношение,— все составляют одну сплоченную банду, имеющую целью отнять у него не только его имение, но и самую жизнь.

— Сына моего, вот этого, что подавал обед, и то совратили. Три месяца тому назад прогнал мать его,— отравить меня хотела. Она кухаркой служила. Подлая женщина чего-то такого подсыпала в суп, что я три дня лежал при смерти. Зову сына, говорю: «Твоя мать отравила меня». Негодяй отвечает: «Вы с ума сошли».— «А! неблагодарный щенок! Вон с твоею подлою матерью, чтобы духу вашего мерзкого не было!» Ушли. Оставили меня одного — больного, умирающего. Посылаю за доктором, становым, заявляю об отравлении, показываю суп, требую протокола. Пошли в другую комнату, просидели часа два, выходят назад; осмотрел меня доктор и объявляет, что в супе нет отравы и болезнь будто бы произошла от объедения. Какая наглость! Я не вытерпел, я прямо сказал им: «А, голубчики, и вы тоже? Хорошо, господа подпольные герои, я найду на вас расправу, а теперь вон!»

Синицын сделал театральный жест рукой, указывая на дверь.

Внимательно взглянув на меня и, видимо, удовлетворившись произведенным впечатлением, он хлебнул чаю и упавшим голосом продолжал:

— Пишу губернатору. Недели две — никакого ответа. Что делать? Решаюсь писать министру и уже все, все изложил, никого не пожалел, но и без пристрастия, сущую правду, как перед господом моим богом. Закончил прошение так: «Хотел бы я надеяться, ваше высокопревосходительство, что хоть теперь будет услышан мой справедливый вопль, но боюсь русской пословицы: «жалует царь, да не милует псарь». Сильно сказано? — обратился он ко мне.

— Очень сильно,— ответил я.

Синицын помолчал и продолжал гробовым голосом:

— Две недели тому назад получаю свое прошение через пристава, распечатанное, с предложением дать подписку, что впредь не буду писать таких прошений. Вся кровь прилила мне в голову от этого нового оскорбления. «Вон!» — закричал я не своим голосом. Этот нахал отвечает: «Я уйду, но извольте подписаться, так как иначе вам предстоит удаление из губернии». Что оставалось делать? Я взял перо и написал: «Покоряюсь силе и даю подписку».

Он замолчал. У меня тоже не было охоты говорить с этим сумасшедшим, но жалким стариком.

— Хотите посмотреть мой сад?

Я нехотя согласился. Я слышал уже об этом саде; слышал, каких нечеловеческих усилий стоило бывшим его крепостным натаскать на почти неприступный скалистый косогор годной земли и устроить этот Семирамидин сад. Слышал о гротах, где купались некогда нимфы — его бывшие крепостные девушки,— он тут же сидел и любовался. От времени сад опустел, и мало-помалу косогор стал принимать свой прежний неприступный вид. Облезшие Венеры уныло торчали здесь и там вдоль дорожек, круто спускающихся к реке; полуразрушенные гроты нагоняли тоску и отвращение.

Мы возвращались назад. Синицын с страшным трудом взбирался на гору, задыхаясь, хватаясь за грудь и останавливаясь на каждом шагу.

— Я никогда не хожу в этот проклятый сад и только для вас...

Я смотрел на него с сожалением и думал:

«Что, если бы в тот момент, когда он устраивал свой сад, отодвинулась бы завеса будущего и он увидел бы себя теперешнего, проклинающего то, что устраивал для своего наслаждения?»

Да, если справедливы те рассказы, которые сохранились о Синицыне, то надо сознаться, что жизнь умеет мстить некоторым, обратив против них их же оружие.

Такого ада, такого ежеминутного унижения, какое испытывал он от всех тех, которые когда-то трепетали перед ним, трудно себе и представить.

Бегавший мальчишкой в его дворне Гришка — теперь писарь волостного правления — считает своим долгом все

получаемые Синицыным газеты разворачивать, потом снова складывать только потому, что Синицын этого терпеть не может и, получив такую газету, будет рвать и метать.

Старшина, зная, что Синицыну это нож в сердце, умышленно игнорирует его титулы.

Староста, на вызов составить протокол о помятии травы, является на третий день, когда следов помятия никаких не остается, да и не сам еще, а присылает кандидата.

Встречный обоз на грозный окрик Синицына своротить в сторону хохочет только, без церемонии берет его лошадь под уздцы и затискивает как можно глубже в снег. Если Синицын протестует и ругается,— а он всегда протестует и ругается,— они отхлещут его кнутом, оставив несчастного, бессильного старика одного выбиваться, как знает, из глубокого снега.

И, несмотря на все это, Синицын не падает духом и ни на иоту не отступает от своих требований. Время идет и потихоньку делает свое дело: его враги умирают, выходят в отставку, переводятся. Старик приписывает все это себе. По поводу каждого такого перемещения он многозначительно говорит:

— Да, в конце концов правда всегда восторжествует...

Если настоящее его невыносимо, зато будущее рисуется ему безоблачным. Он знает, что господь его бережет для чего-то чудного и высокого. Пережить все то, что пережил он в свою долгую безотрадную жизнь, давно уже полную невыносимых нравственных и физических лишений, обыкновенный человек не может, и только ему, избраннику своему, дает господь силу для этого.

У него давно никто не берет ни земли, ни лесу, потому что с ним нельзя иметь дела, и, как он перебивается при заложенном имении, одному богу известно.

Когда мы возвратились в комнаты, он стал жаловаться на свои материальные затруднения, на предстоящий платеж в банк.

Я попрекнул его тем, что он не извлекает доходов с имения, и шутя назвал его божьим сторожем.

Он пытливо заглянул мне в глаза и спросил:

— Вы хотите сказать, что я как собака на сене?

И, помолчав мгновение, он грустно докончил:

— Зло, но справедливо.

На прощанье я предложил ему денег для взноса в банк.

— Благодарю,— отвечал он.— Я не могу взять у вас деньги потому, что мне нечем вам отдать.

Предприимчивый и изворотливый Леруа жил от нас в двенадцати верстах. Имение было детское, а винокуренный завод его. Леруа, или де Леруа, «дит Бурбон», как называл он себя в торжественных случаях, был человек лет пятидесяти пяти. В молодости, когда он был блестящим гусаром, адъютантом своего отца, который занимал в армии видный пост, он женился на богатой помещице здешних мест. Прокутив свое состояние, часть состояния жены, похоронив первую жену, оставившую ему четверых детей, он сошелся с одной актрисой, с которою прижил еще четверых детей, жил некоторое время в городе и, наконец, лет пять тому назад окончательно с двумя своими семьями переехал в деревню.

Дела его из года в год шли все хуже. Он давно был в руках известного ростовщика Семенова, а, по сложившемуся мнению, попасть в руки Семенова было равносильно гибели.

Сам Леруа и семья его вели невозможный образ жизни. Когда вы к ним ни приезжайте, вы непременно застанете одних членов семьи спящими, других только проснувшимися, пьющими свой утренний чай, третьих обедающими и всех бодрствующих непременно за книгами, преимущественно за самыми забористыми романами. Разговаривают с вами — книга в руках, садятся обедать — развернутая книга, опершаяся о графин, стоит перед глазами, руки работают, подносят ко рту ложку и хлеб, рот жует, а глаза жадно пробегают страницы. Оторвать от чтения — это значит сделать большую неприятность читающему. Если отрывает кто-нибудь свой, читающий без церемонии крикнет:

— Дурак (или дура), не мешай!

Если чужой помешает, на губах появится на мгновение улыбка, вежливый, лаконический ответ, и снова чтение.

Семья от первой жены состояла из трех сыновей и барышни-дочери. Старшему было лет двадцать пять, среднему — двадцать и младшему — лет шестнадцать. Все они в свое время были в гимназиях, все по разным непредвиденным обстоятельствам должны были, не кончив, выйти

из заведения и возвратиться к отцу, у которого и проживали, ничего не делая. Каждую осень с весны и весной с осени они собирались ехать в гвардию, где, вследствие протекции, какую они имели, их ожидала блестящая будущность. Так говорил по крайней мере сам Леруа. Относительно себя Леруа, запинаясь, рассказал мне в первый же визит, что дела его пошатнулись было, но что в этом году он будет иметь...

Леруа, собираясь произнести цифру, слегка запнулся, поднял глаза кверху, подумал несколько мгновений и, наконец, торжественно объявил: «Сорок тысяч рублей чистого дохода».

— Вы не верите? — любезно предупредил он меня.— Я сейчас вам это докажу, как дважды два...

— Стеариновая свечка,— объявил неожиданно углубленный в чтение один из сыновей.

— Дурак! — парировал его старый Леруа.

— Ха-ха-ха!..—залился в ответ веселый юноша и исчез из комнаты.

Леруа некоторое время стоял озадаченный, но потом с улыбкой объяснил мне, что свобода и независимость входят в программу его воспитания.

Возвращаясь к прерванному разговору, Леруа обязательно просил меня взять карандаш; отыскав чистый, не исписанный еще цифрами кусок бумаги, подложил его мне под руку и попросил меня записывать следующие цифры:

— Двести десятин картофеля по две тысячи пудов...

Я знал хорошо, что картофеля посеяно не двести, а двадцать десятин, что десятина даст, дай бог, тысячу пудов, но спорить было бесполезно. В конце концов, когда подсчитали итоги, до сорока тысяч было очень далеко.

Леруа лукаво посмотрел на меня.

— Вы думаете, что до сорока тысяч еще далеко? Вы думаете, откуда он получит остальные восемнадцать тысяч рублей?

Леруа дал себе время насладиться моим смущением и после, торжественно тыкая себя пальцем в лоб, сказал:

— Вот откуда, милостивый государь, де Леруа, «дит Бурбон», получит остальные восемнадцать тысяч рублей.

Еще несколько томительных мгновений молчания — и, наконец, объяснение загадки.

Ларчик просто открывался...

Действительно, просто. Де Леруа, «дит Бурбон», просто-напросто придумал ловкий способ надувать акцизных и гнать неоплаченный спирт.

Он кончил и ждет одобрения. Я смущен и не знаю, что сказать.

Леруа спешит ко мне на выручку.

— Ловко? Гениально придумано?

Говорить ему, что это мошенничество, было по меньшей мере бесполезно.

— Ну, а если вас поймают?

— Никогда!

Прощаясь, Леруа просил меня сделать ему маленькое одолжение: поставить бланк на двух векселях, по триста рублей каждый.

Я смутился, поставил, за что впоследствии и заплатил шестьсот рублей, которые никогда, конечно, не получил обратно.

Провожая меня к экипажу, он объявил мне свою милость:

— Всю вашу рожь прямо ко мне на завод везите — гривенник дороже против базарной цены и argent comptant [1].

Поистине царская милость!

Я, конечно, поблагодарил, но ни одного фунта ржи не доставил.

Приехав ко мне, он все раскритиковал:

— Разве это ваше дело хлеб сеять? Таким делом может всякий дурак заниматься. С вашими знаниями, с вашею энергией завод нужно открывать: сахарный, винокуренный, бумажный, картофельный, наконец.

Мое отношение к крестьянам он подверг строгому осуждению.

— Не наше, батюшка, дворянское это дело якшаться с хамами.

Я, конечно, не стал оправдываться.

— Надежда Валериевна, уговорите хоть вы вашего мужа бросить это якшанье.

— Я сама всею душой сочувствую ему в этом,— улыбнулась жена.

Леруа только руками развел.

---

[1] Наличные деньги *(франц.)*.

— Я вам скажу только одно: я знал и вашего, и мужа вашего отцов; если бы они увидели, что делают их детки, они в гробу бы перевернулись.

Мы рассмеялись и выпроводили кое-как этого бестолкового, погубившего себя и семью свою человека.

Вот и все наши соседи, жившие в имениях. Остальные или не показывались вовсе в свои поместья, или появлялись на день, на два, с тем чтобы снова исчезнуть на год. В таких имениях сидел управляющий и занимался раздачей земель.

То же было и на купеческих землях. Разница между купеческими и дворянскими хозяйствами состояла в том, что в дворянских деревнях постройки, сады, лес сохранялись, а у купцов вырубались наголо. В дворянских имениях велась раздача земли по известной установленной системе, а у купцов земля раздавалась как попало и где попало.

Купец, приобретавший дворянское имение, был желанный гость для крестьян на первых порах; но когда, вследствие хищнической системы, лес исчезал, а земля истощалась, крестьянам, если поблизости не было свободной земли, приходилось очень жутко: истощенная земля не окупала расходов, а цена на землю, раз установленная, держалась твердо.

Плохо им было и с другой стороны на купеческих землях. Пала лошадь, корова, сгорели, свадьбу затеяли — негде денег достать, кроме как у своего же брата мужика, а этот даром не даст. Как посчитать все, что придется отдать за занятые деньги, так и выйдут все сто процентов.

Из дальних соседей я попрошу позволения у читателя остановиться, как на представляющем собою нечто выдающееся, на помещике Чеботаеве. Это был человек лет тридцати пяти, женатый, имевший уже шесть человек детей. Имение у него было большое, хорошо устроенное, старинное, и хозяйство велось по издавна заведенному порядку. Нововведений почти никаких не допускалось. Под пашню поступала отдыхавшая не менее пятнадцати лет земля. Часть земли засевалась Чеботаевым, часть отдавалась окрестным крестьянам. Земля его, как новая и сильная, высоко ценилась и бралась нарасхват мужиками. Все остальное имение находилось под сенокосом. Ввиду обилия сенокосов луга продавались крестьянам соседних де-

ревень сравнительно по весьма умеренной цене. Для них это было очень удобно и давало возможность держать много скота.

Обладая семью тысячами десятин земли, Чеботаев получал не более десяти тысяч рублей дохода. Это сравнительно весьма небольшой доход, но Чеботаев большего не желал, говоря, что с него и этого довольно. Терпение, осторожность, выдержка, нелюбовь к риску были отличительными качествами Чеботаева.

— К имению нужно относиться, как к банку. В частном вы можете получить на свой капитал десять процентов, но с риском потерять этот капитал, в государственном же вам дадут три-четыре процента, но без риска.

— Но тогда какой же интерес жить в имении.

— Больше негде жить. В городе для меня дела нет. Служить?—я к этому не был подготовлен; жить же в городе без дела слишком скучно, поневоле и живешь в деревне.

Он был против моих, как он называл, «заигрываний» с мужиками.

— Между мной и мужиком общего ничего нет. Интересы наши диаметрально противоположны; какое же здесь возможно сближение? И нечего и их и себя обманывать, нечего лезть к ним с неосуществимыми иллюзиями, потому что из этого не может выйти ничего путного. Отношения должны быть чисто деловые: вам нужна работа, ему земля; дали вы ему землю и не обманули,— вот и всем отношениям конец. Хотите помогать им — помогайте, но так, чтобы правая рука не знала, что творит левая, в том смысле, чтобы ваша помощь не была поводом для него в будущем установить уже обязательную с вашей стороны помощь. Рассчитывать на их признательность, на искренность отношений — крупная ошибка. В силу вещей между нами ничего нет общего; с молоком матери всасывают они убеждение, что вы — враг его, что земля его, что вы дармоед и паразит. Вашими заигрываниями вы еще более его в том убедите. Влияния на него никакого вы иметь не можете. Проживете с ним сто лет — и весь ваш столетний авторитет подорвет любой пришлый солдат самою нелепою сказкой. Так-то, батюшка мой! Вот школу, больницу, хорошего священника им дайте, это им нужно,— но не стройте здания на песце, да не обрушится оно и не погубит строителей.

По поводу моего хозяйства мнение Чеботаева было такое:

— «Могий вместити да вместит». Но, грешный человек, я сильно сомневаюсь в успехе. Я рад вам, как милому соседу, с которым можно отвести душу, но, если б вы спросили моего искреннего совета, я сказал бы вам: «Бросьте все и поезжайте служить». Мыслимо ли, при теперешних условиях, что-нибудь сделать? Ведь под вами нет никакой почвы, вы один, без поддержки, а начинать новое дело без опыта предшественников, без собственного даже опыта, без надлежащего знания окружающих условий природы, при отсутствии всякой научной агрономической деятельности в крае,— одним словом, при черт знает каких условиях — по-моему, значит идти на верную гибель... Все, конечно, может быть; я не знаю вас, ваших сил, повторяю: «Могий вместити да вместит», но для меня была бы непосильна такая задача. Если я убедил вас, бросайте все и поезжайте служить. Не убедил — забудьте мои слова, и дай бог вам всего лучшего.

Из соседей-крестьян я остановлюсь на двух деревнях — Садки и Успенка.

Крестьяне деревни Садки вышли на полный надел. Материальное благосостояние их, в сравнении с князевцами, процветало, несмотря на то, что поля их сравнительно были хуже князевских. Общий тон деревни поражал своею порядочностью, сплоченностью и единством действий. Они сами сознавали свое преимущество перед другими деревнями.

— Наше село дружное, работящее. Мы не любим скандальничать.

Свою порядочность они объяснили тем, что господа у них исстари были хорошие и жалели мужиков. Они принадлежали роду графов Зубовых. В деревне было две партии: богатые и бедные. Душевым наделом распоряжались бедняки, и все устраивалось в интересах бедных. Зато богатые, образовав товарищество из сорока человек, держали в аренде, на шесть лет, соседнюю землю и вели там независимое от остальной деревни хозяйство. Дела их шли прекрасно. Земля без всяких особенных улучшений выхаживалась отлично, и если не было урожаев вроде немец-

ких, то не было урожаев вроде князевских. Во всяком случае на арендованных богатыми землях урожаи были несравненно выше, чем на душевых наделах.

— Как же сравнить! — говорили садковские зажиточные крестьяне.— Разве мир может сравниться с нами? У нас человек к человеку подобран, у нас сила берет, у нас сбруя, снасти, лошади — ты гляди что? — а у них немощь одна. У нас, один на другого глядя, завидуют друг дружке: один выехал пахать — глядь, и все тут, никому неохота отстать, быть хуже другого, а у них? Пока дележка будет идти, время-то сева уйдет, а у нас земля раз на все шесть лет деленая. На душевой земле у нас вдвое хуже против покупной родится.

— А зачем вы не назмите вашу товарищескую землю?

— Не рука. Своя была бы, стали бы назмить, а так, начнем назмить землю, выхаживать, а придет новый срок, хозяин на землю-то прибавит.

— Вот, говорят, крестьянский банк устроят.

— Вот тогда ино дело будет.

— Только там обществом надо будет покупать.

— Обществом не придется: мир велик человек — не сообразишь. Я, к примеру, богат, он — бедный: меня берет сила, его нет, он будет гоношить по-своему, я по-своему. Я в силах платить, он не может,— грех и выйдет один... Нет, обществом не сообразишься... А может быть, и без банка землю отберут от господ?

— Вот уже тридцать лет отбирают, а она все господская. Пожалуй, надейся, коли не надоело.

В селе существует какая-то секта. Члены ее посещают церковь и вообще ничем не отличаются от православных, кроме того разве, что носят белые рубахи. По субботам они собираются на моление, по очереди, друг у друга. Что там происходит, никто не знает, но говорят, что в конце моления тушатся свечи и начинается оргия. Сектанты энергично протестуют против этого. К секте принадлежат исключительно богатые. Возникла эта секта всего несколько лет тому назад. Члены секты в высшей степени трудолюбивы, деятельны, полны интереса к жизни. В этом отношении они составляют полную противоположность с остальными крестьянами, несомненно принадлежащими к православной церкви.

Село Успенка, громадное по размерам, было заселено вначале девятнадцатого столетия гвардейцами. Природные условия очень выгодные. Крестьяне со своих оброчных статей получают столько, что им хватает на все повинности. Сверх этого они имеют надел пятнадцать десятин на душу. Несмотря на все это, крестьяне живут так же плохо, как и князевцы. В миру у них продажность идет страшная. «Коштаны» процветают. Поле деятельности для них при сдаче разных угодий обширное... Все это люди с громадными голосами, нахалы, без правды и совести. Без подкупа их ни одно дело не поделается. С помощью их, напротив, всю деревню можно водить за нос. Рыбная ловля, мельница, луга — все это идет при их посредстве за бесценок.

VI

Выполнение программы.— Заботы об удобрении.— Мокрый год.— Опыт.

Задавшись целью поставить крестьян настолько на ноги, чтоб они могли начать правильное хозяйство, я вынужден был, на первых порах, открыть им значительный кредит. У одних совсем не было лошадей, у других, по количеству работников, было их мало. Я истратил до полутора тысяч рублей. Эти деньги были мною рассрочены на несколько лет под разные зимние работы. Крестьяне энергично взялись за дело. Мысль, что они снова станут взаправдашними крестьянами, что у них снова заведутся амбары (большинство за ненадобностью их продало), в сусеках которых не мыши будут бегать, а хлеб будет лежать, что на гумнах снова будут красоваться аккуратно сложенные клади хлеба, веселила крестьян и придавала им энергии.

Прошел год. Деревня значительно преобразилась, и мужики весело поглядывали на свои аккуратные или совсем новые, или подновленные избы.

Веселило крестьян и другое. Наступила осень. Жнитво почти заканчивалось. Урожай был прекрасный вообще, но у крестьян и у меня выдавался из всей округи. Правда, крестьяне более склонны были видеть в этом милость к ним бога, но вместе с тем не могли не признать, что испол-

нение моих советов принесло им пользу. Самые завзятые противники моих нововведений, и те соглашались, что «вреды нет».

Для начала и то хорошо было. Конечно, не без мелких недоразумений все шло. Приходилось некоторых неисправных плательщиков понуждать. С навозом на первых порах было много «облыжности»: вывезет за село, оглянется — не видит никто — и свалит в речку, вместо того чтобы везти на поле. Это, конечно, не часто случалось, потому что и я и мои полесовщики зорко следили, чтобы навоз вывозился в поле. Этот надзор многих очень обижал.

— Что уж это такое? — говорили крестьяне.— Сказано, станем возить, ну, и повезем.

Под конец зимы, впрочем, так втянулись, что почти не было случаев вываливания навоза куда-нибудь в овраг.

По субботам, когда происходил расчет за всякие работы, какой-нибудь мужик непременно добродушно заявлял:

— Я нынешнею неделей твоей милости тридцать возов. Вот как!

— Почему же моей милости? — спрашивал я.— Для себя, чать, возишь.

— Твоя земля.

— До времени моя, а соберетесь с силой, свой надел откупите у меня,— вот и будет ваша.

— Где уж нам!

Несмотря на такой ответ, крестьяне понемногу заинтересовались возможностью покупки и потихоньку расспрашивали об условиях продажи.

— По своей цене продам: я заплатил по тридцати рублей — и вам так отдам.

— Что ж, это хорошо.

— Цена не обидная.

— А деньги сразу?

— Где ж вам сразу отдать,— отвечал я,— конечно, в рассрочку.

— А на много годов?

— Лет на десять.

— Это хорошо. А процент большой положишь?

— Пять копеек с рубля.

— Что ж, это не обидно.

Наступало молчание.

— Да, не даст ли господь,— говорил кто-нибудь раздумчиво,— и нам счастьица. Есть же оно у людей.

— То-то бы молились за тебя богу.

— И сейчас молимся,— ответит кто-нибудь,— спасибо ему есть за что сказать.

— Всякий и всякий спасибо скажет.

— Со стороны люди глядят — не нарадуются. Приедешь на базар — странние, и те говорят: «Счастье вам господь послал, а не барина,— молиться за него надо».

Когда прошла весна и наступило время запашки навоза, дело тоже не обошлось без препирательств.

Первоначально я настаивал, чтобы навоз свозился в кучи, так как в таком виде он лучше перегорает, семена сорных трав перегнивают, а затем уже из куч разваживался по десятине. Так я и делал. Крестьяне поголовно восстали.

— Этак ты нас вовсе замаешь. Тогда только с одним навозом и возись, а остальное дело? Нет, так не гоже.

Пришлось уступить. Главное было сделано: навоз возили, а остальное постепенно само собой сделается. Когда началась запашка навоза, крестьяне на первых порах отнеслись к этому делу очень небрежно.

Я во время запашки только и ездил, что к ним да на свое поле. Подъедешь к какому-нибудь, вроде Федора Елесина, и начнешь:

— Ну, как же тебе не стыдно! Не пожалел навозить навоз, самую трудную работу сделал, немножко уж осталось, а не хочешь. Посмотри у меня: поле все на клетки разбито, на каждую клетку воз, разбросан по всей клетке ровно, аккуратно. А у тебя что? Как куча лежит, так и лежит; доехал до нее сохой, тогда только остановишь лошадь, разбросаешь как-нибудь охапками навоз на два, на три шага кругом, чтобы только лошадь прошла, и поехал дальше. Разве так можно? И выйдет из этого то, что будет у тебя хлеб куличами,— где больно хорош, где плох; где больно поспел, где зеленый еще; зеленого дожидаешься, поспевший осыпается,— половину хлеба только и соберешь. Невестка твоя сидит же дома,— что бы тебе взять ее с собой? Пока ты пашешь, она бы вилами и раскидала навоз.

— А за детьми смотреть, а есть кто будет варить?

— Ну, племянницу возьми.

— Племянница у тебя же на работе.

— Зачем же ты пускаешь ее ко мне, когда своя работа есть?

— А есть что будем?

— Ну, сам наконец...

— Да, так и буду время вести, а за полку, за сенокос когда примусь?

— Кто тут виноват, что раньше не начал.

— Коли же раньше? Кончил яровое, лес стал рубить, лубки надрал, намочил. Потом навозил маненько лесу да вот и стал парить.

— Да много ли времени надо, чтобы раскидать твой навоз?

— Тут немного, там немного, а поглядишь — оно и все. А пища-то — водица да хлебец. Не больно-то тут навоготишься.

— Просто у тебя упрямство одно. Времени всего-то два-три часа уйдет у тебя, а забываешь то, что за эти два часа двадцать рублей лишних получишь, как уродит.

— Даст господь, так уродит, а не даст, хоть насквозь ее пропаши,— ничего не будет. Мы-то своим умом и так и сяк, а господь все своею милостью ведет.

— Ну, это все очень хорошо, а все ж таки, прошу тебя, раскидай навоз как следует. Ну, для меня сделай.

У Федора суровое лицо разглаживается, он улыбается, отпрукивает лошадь и лениво идет к шабру за вилами.

К другому, вроде известного лентяя Трофима Васюшина, подъедешь, уже на другой лад говоришь:

— У меня с тобой короткий, Трофим, разговор будет: или делай, как люди, или только ты меня и видел.

— Да ведь я, кажись, не хуже людей.

— Не хуже, а это что?

И начну ему отпевать. Кончу и опять:

— Так и запиши: не будешь делать как надо, только и видел меня.

Трофим понимает мой намек,— он хочет звать меня в крестные, когда хозяйка, бог даст, родит. Широкая улыбка разливается по его гладкому глуповатому лицу, доходит до самых ушей, и он добродушно-снисходительно говорит:

— Ну, уж ладно.

Еду дальше.

— Поглубже, Петр, поглубже.

Петр рад отдохнуть. Он не спеша останавливает лошадь, снимает шапку, говорит сначала: «Здравствуй, батюшка»,— и тогда уж отвечает:

— Сила не берет. И рад бы глубже взять, да лошаденка не терпит. Одна, сердечная. Зиму всю на соломке, весну всю в пашне, потом лес, без передышки опять за работу — все животы подвело. Видим мы все, сударь, что ты шибко об нас заботишься, да сила нас не берет. Видно, не мимо бают старые люди: «Сам плох — не поможет и бог».

— Ты что ж это панихиду по живом-то начал? Бога гневить не за что,— идет все, слава богу, хорошо, а сразу тоже нельзя.

— Конечно, нельзя.

— Потихонечку и пойдешь.

— Дай бог, дай бог.

Кончилась пашня, наступил сенокос; за сенокосом пошло жнитво. И оно почти уж закончилось.

На днях и я и мужики собирались начинать молотьбу ржи для озимого посева.

Было воскресенье.

Окончив обед, жена, Синицын и я вышли на террасу подышать свежим воздухом. Стоял прекрасный полулетний, полуосенний день. Небо уже приняло свой однообразный яркосиний осенний цвет. Только около солнца, собиравшегося уже садиться, небо переливалось каким-то особым нежным, пепельно-голубым, изумрудно-зеленым, яркооранжевым цветом. В прозрачном воздухе рельефно рисовались на горизонте лес, поля, с обильно наставленными на них копнами хлеба; пруд, спокойный, сверкающий, манящий своею прохладой; село с протянувшеюся длинною улицей, на которой теперь в живописных группах, в сарафанах, красных и синих рубахах, толпилась молодежь деревни; ближе — сад наш, оканчивающийся речкой, вдоль которой старые седые ветлы лениво шевелили своими вершинами. В саду начиналась вечерняя поливка цветов, и в свежеющем воздухе далеко разносился нежный аромат их.

Ближе к террасе на гигантских шагах бегали деревенские дети — ученики жены, молодые парни, девушки. Одни бегали, другие ждали очереди и грызли подсолнухи. Скрипнула калитка сада, и один за другим князевцы потянулись к террасе.

— Здравствуйте, господа,— встретил я их, спускаясь к ним.— Надевайте шапки.

— Не холодно, и так постоим.

— Что скажете?

— Да мы все с докукой к тебе,— начал Исаев,— идем, да и калякаем: баим, к своему брату мужику идешь за нуждой — и не знаешь, как, с чего начать, а к тебе — так без страху и лезем за всяким делом.

— Чего же вам?

— Да вот насчет жнивов хотим просить вашу милость. Не допустишь ли скотинку попасти?

— Так что ж? Ладно.

— А мы бы тебе снопов повозили, когда скричишь.

— Ладно.

— Ну, покорно благодарим.

Наступило молчание. Мужикам, видимо, неохота была уходить.

Я сидел на ступеньках и благодушно смотрел на качающихся. Синицын с верха террасы с любопытством следил за мной и мужиками.

— Вот я баю,— начал опять Исаев,— николи у нас не было, чтобы в полусапожках да сарафанах гуляли девки. А сейчас? — праздник придет,— как в большом селе, песни, пляски, семечки грызут, кафтанья, сарафаны. Все ты нас жалеешь.

— Ты гляди,— заговорил горячо Петр Беляков,— ребятишки в саду, как к себе пришли — ни страха, ни робости, словно к отцу с матерью... Бывало, помню, мы маленькими были. И-и! Не то что в сад — через мост чтобы нога не переступала. А, храни бог, в сад залезешь, так из ружья, как в собаку, просом всыпят. Лазай потом на карачках целый месяц.

— Трудно было, батюшка мой,— заговорил Елесин,— чуть что не так, марш на конюшню!

— Ругатель был; иначе, бывало, как: «такой, сякой ты, сын» — и не скажет человеку.

Я вспомнил, что Синицын слушает, и поспешил переменить разговор.

— Ну что ж, и за молотьбу скоро приниматься пора.

— Пора, батюшка, пора.

— Слава богу, будет чего,— заметил я.— Можно благодарить бога.

— Как господь совершит,— вставил Елесин.

— Да уж совершил,— ответил я.

— В руки как допустит,— укоризненно пояснил Елесин.

— Ну уж ты,— рассмеялся я.— Так ведь никогда и порадоваться нельзя. В амбар ссыпешь — и там будет неспокойно.

— Пропадет и там,— проговорил Елесин.

— Когда же, по-твоему, благодарить господа?

-- А вот как, бог даст, живы будем, съедим хлебушек-то, тогда и благодарить станем.

— Ну, тогда благодарить поздно, по-моему.

— А по-нашему, теперь рано.

— А по-моему, благодарить бога да радоваться всегда надо, а придет беда, тогда уж и радоваться нечему. Так и радоваться никогда не придется.

— Знамо, гневить бога нечего,— согласился Керов,— посылает милость, видимое дело.

— Еще бы не милость оказал,— отвечал я,— шутка сказать: по сто пятьдесят пудов на десятину уродилось.

— Ну, где уж полтораста, ста не будет,— возразил Исаев.— Разве в таком редком хлебе может быть сто пятьдесят? Погуще маленько посеяли бы, может, и было бы.

— А я говорю: сто пятьдесят, а на моей земле двести пятьдесят.

— Не будет,— убежденно мотнул головой Исаев.

— В жизнь не будет,— сказал Ганюшев.— Я вот на что, хоть об заклад пойду, то есть вот разорви меня, коли будет! Отродясь на нашей земле того не бывало, чтобы двести пятьдесят родило.

— Ну что ж,— отвечал я,— давай биться об заклад.

Ганюшев, опешив, уставился на меня.

— Я ставлю тебе полведра водки, если твоя правда, а если моя, ты должен привезти две десятины снопов.

— Да как же мы спорить станем?

— А так и станем. Вот сейчас пойдем на загон, отобьем осьминник и обмолотим на молотилке.

Ганюшев нерешительно смотрел на меня.

— Ну что ж, иди,— сказал я ему,— тебе уж не впервой меня нажигать.

— Не знаю, как...

— Ты же сам предлагал заклад, что не будет двести пятьдесят пудов?

— В жизнь не будет!
— Ну, так иди.
— Идти, что ль? — обратился он к мужикам.
— Знамо, иди!
— Чего не идти?
— Не знаю, как...
— Айда пополам,— вызвался Исаев.
— Иди, иди, чего ты?
— А откуда снопы возить? — спросил Ганюшев.
— Ну, хоть с речки.
— То-то,— сказал Ганюшев.— А ты вот чего: десятину снопов поставь.
— Нет, две.
— Ну, айда! — решился, наконец, Ганюшев.— Что будет! — проговорил он.
Через час мы уже взвешивали смолоченную рожь; по расчету на десятине получилось двести семьдесят пять пудов.
— Что, Ганюшев, видно, не каждый раз тебе меня накрывать? — спросил я.
Ганюшев утешал себя тем, что и у него, пожалуй, будет сто пятьдесят пудов.
— Ага, стал верить,— рассмеялся я.
Мужики пристали, чтобы я простил Ганюшеву проигранное пари, а им бы выдал на ведро водки.
— Ох уж мне эта водка! — отвечал я.— Вперед вам говорю, господа: с нового года кабак закрою,— либо я, либо кабак.
— Да и нам в нем радости нет,— согласился Елесин,— хоть сейчас.
— Без кабака хуже,— заметил Петр Беляков.— Было у нас — закрыли, так что ж ты думаешь? — в каждой избе кабак открылся, водку пополам с водой мешали; грех такой пошел, что через месяц опять целовальника пустили. Мещанишки мы, сударь: староста наш ничего не может поделать, так и живем, как на бессудной земле (у мещан староста не имеет полицейской власти).
— Я вам буду за старосту и сам досмотрю, чтобы не торговали водкой. Раз, два накрою, посидит в тюрьме — пропадет охота.
— Греха много будет,— заметил Петр.
— Не будет,— отвечал я.

— Кто там жив еще будет,— замял Андрей Михеев,— а теперь бы хорошо пропустить с устатка. Вон твоей милости без малого сотнягу намолотили по пятаку, и то на ведро наработали.

— Да ведь обидно то, что к моему ведру вы своих три прибавите.

— Ни боже мой,— горячо отозвался Михеев, а за ним и другие.— Вот там выпьем и тем же духом айда спать!

— Так ли?

— Верно.

— Разве Сидора Фомича послать с вами, чтобы досмотрел.

— Что ж, хоть и Сидора Фомича посылай. Коли сказали, так и сделаем.

— Ну, хорошо: я вам дам на ведро, только и вы меня уважьте.

— Мы тебя всегда уважаем.

— Мы рады за тебя не то что... хоть в огонь.

— Выезжайте завтра пахать яровое.

Наступило молчание.

— Больно неколи,— заговорил Исаев.

— Надо ж когда-нибудь пахать,— возразил я.

— А весной чего станем делать?

— А весной пораньше посеете, да и за пар.

— Эх, как ты нас трудишь работой! — сказал Исаев.— Всем ты хорош: и жалеешь, и заботишься, и на водку даешь, только вот работой маешь.

— Для кого же я вас маю? Для вас же.

— Знамо, для нас, только не под силу больно. Бьешься, бьешься, а выйдет ли в дело...

— Выйдет, выйдет, бог даст,— весело перебил я его.

— Все думается, все нам сумнительно...

Угрюмое облачко набежало на лица мужиков.

— Вы вот сомневались и насчет моей ржи, а моя правда вышла,— отвечал я.— Что ж, я враг себе, что ли? Даром меня двадцать пять лет учили, чтоб я не мог разобрать, что худо, что хорошо? Да вы же сами ездили за моими семенами к немцам. Худо разве у них?

— Коли худо,— заговорил, оживляясь, Петр,— у них жнива выше нашего хлеба. Издали я и взаправду подумал, что это хлеб. Гляжу, лошадь прямо в хлеб идет.

Я себе думаю: немцы, а лошадь в хлеб пускают,— глядь, это жнива такая.

— Ну, а с чего у них такие хлеба родятся? — спросил я.— Чать, с работы? Земля одна.

Воспоминание о немцах оживило толпу.

— Знамо, вспаши ее раза два-три — все отличится против одноразки.

— Когда не отличится. Ноне я на зябе сеял полбу. Так что ты, братец мой? Отличилась. Рядом хлеб, а на ней другой.

— Знамо, другой.

— Работа много тянет.

— А може, и не даст ли господь и нам свое счастье сыскать,— раздумчиво проговорил Исаев.— Може, и пожалеет он нас за нашу бедность, за маяту нашу.

— Бедность наша большая,— вздохнул Григорий Керов.— Темный мы народ, и рад бы как лучше, а не знаешь.

— А научить некому,— сказал я ему в тон.

— То-то некому,— согласился Керов.

— Барин, так барин и есть,— продолжал я тем же тоном.

Керов спохватился и сконфуженно уставился на меня.

— Э-э, как ты нас подводишь,— вступился Егор Исаев.— А ты нас пожалей, а не то, чтоб на смех нас подымать.

В голосе Исаева послышалась фамильярная нотка.

Я слегка покосился на него и продолжал смотреть на Керова.

— Да я чего? — отвечал Исаев.— Я ведь не то, чтоб... я ведь того... Ну, прости, коли что неловко сказал,— обратился он уж прямо ко мне.

— Верить надо больше тем, кто вам добра желает,— обратился я к Исаеву.— Не из корысти я к вам приехал. Гнался бы за деньгами, продолжал бы служить и с имения получал бы, да и на службе больше, чем с имения, заработал бы. Три года я с вами, можно, кажется, убедиться, что я за человек — обманщик, враг ли ваш, или желаю вам добра.

— Знамо, добра желаешь,— согласился Исаев.

— А верите, что желаю добра, так и делайте, как учу. Трудно, да ничего не поделаешь,— бог труды любит. За двадцать пять лет, конечно, вы от правильного труда

отвыкли, зато же и впали в нищету. Главное, что от труда никуда не денешься; от того, что не во-время его выполнишь, труд все будет такой же, только толк другой выйдет.

Мужики молчали.

— Ну, так что ж, господа, начнете завтра пахать? А уж на водку, так и быть, дам.

Толпа нерешительно молчала. Хотелось и водки и пахать не хотелось.

— Уважить разве? — обратился Исаев к толпе.

— Да чего станешь делать? — сказал Керов.— Видно, выручить надо барина.

— Оно и то сказать,— согласился Петр,— тяни не тяни, а пахать ее все не миновать.

— Знамо, не миновать,— согласился Елесин.

Мало-помалу и другие стали склоняться к мысли о необходимости начать пахать.

— Видно, ладно уж,— обратился ко мне Исаев.

— Ну, спасибо,— сказал я,— только уж, старики, не взыщите, я настаивать стану.

— Неужели обманем? — обиделся Петр.—Коли дали согласие, так уж, знамо, станем пахать.

Я дал им на ведро водки и пошел с Синицыным домой.

— Вот вы как с ними,— раздумчиво говорил Синицын.— Что ж, дай бог! Вы больше приспособлены к духу времени, вам и книги в руки. Вот как-то мне господь поможет со своими делами. Хочу ехать в город, денег под вторую закладную искать.

— Охота вам, Дмитрий Иванович, мучить себя,— сказал я.— Вы сами знаете, что не приспособлены к духу времени, надо соответственно и действовать. На вашем месте я бы посадил надежного приказчика в имение, а сам бы совсем уехал. Ну, хоть к нам переезжайте, устроим мы вас во флигеле, отлично заживете, будете заниматься своим любимым предметом — историей, отдохнете себе. Денег я для уплаты процентов вам дам,— незачем и в город ездить и закладывать.

— Я вас иначе не называю, как своим духовным братом, верю, что всегда найду в вас поддержку, но...

Кончилось тем, что Синицын наотрез отказался от моего предложения и чем свет уехал в город.

Дворов пятнадцать из сорока четырех, вопреки уговору, не выехало на другой день пахать. Оставшиеся были

отчаянная публика: бедные, беспечные, обленившиеся, для которых все мои нововведения были всегда тяжелою бесцельною обузой. Нельзя было не согласиться с ними в том отношении, что труд их в сравнении с другими почти не достигал цели: от плохой лошаденки, плохой снасти, самого плохого, ленивого и беспечного получалась и работа плохая, а вследствие этого и урожай значительно хуже других.

Жалобы их выражались так: «Маешься, маешься, работы по горло, а толков никаких. Это бы время, что работаешь без толку на себя, тебе бы хоть поденщиной работать, и то стал бы жить не хуже других. А этак — и себе толков нет, и тебе радости мало».

— Не сразу, не сразу,— ободрял я таких.— Прыщ, и тот сначала почешется, а потом уж выскочит, а ты сразу захотел разбогатеть. Может, у меня на поденщине ты и заработал бы больше, да я-то сегодня здесь, а завтра нет меня. А твое дело всегда будет при тебе. Конечно, с непривычки трудно, зато хорошо потом будет.

— Дай-то бог.

С невыехавшими я поступил круто: через час их скотина была выделена из табуна и пригнана в деревню.

Мера подействовала: угрюмые, недовольные, но выехали все.

Между тем погода испортилась, и дожди без перерыва шли день и ночь. Двух дней подряд не выдавалось солнечных. Весь хлеб был обречен на гибель. При таком громадном урожае ожидался год хуже голодного. Пришло время сеять рожь, а семян ни у кого не было,— обмолотить промокшие снопы не представлялось никакой возможности. Все ахали и охали. Мужики служили молебны, а помещики только руками разводили, приговаривая:

— Извольте тут хозяйничать!

У меня были крытые сараи, сушилки, но против молотьбы сырых снопов восставали все,— ничего подобного нигде никогда не было, да и самая молотьба была невозможна: из сырого колоса как выбить зерно? Я совершенно признавал основательность их доводов, но вид залитых водой полей, сознание, что первый ряд снопов в скирдах уже пророс, заставили меня решиться на опыт.

Под проливным дождем, сырые, хоть жми из них воду, снопы были ввезены в сарай.

Елесин, сваливая снопы, ворчал про себя, но так, что я слышал, что я желаю больше бога быть.

— Все гордыня наша. А богу не покориться, кому ж и кориться?

Лил дождь, и завывал ветер, а в сарае было сухо и просторно. Приказчик, ключник и кучка рабочих нехотя, с полным недоверием к успеху дела, стыдясь за меня и мою затею, складывали снопы возле барабана. Кучка возчиков, кончив выгрузку, стояла в стороне с Елесиным во главе. Они смотрели на меня, как на человека, затевающего самое святотатственное дело.

Старый мельник Лифан Иванович, он же главный механик-самоучка, суетился, закрепляя последние винты.

— Ну что, Лифан Иванович, как ты думаешь, пойдет? — спрашиваю я в десятый раз.

— Божья воля, сударь! Примера такого не бывало еще у нас. Может, и пойдет,— сила-то в машине большая.

— Попытаем.

— Попытка не шутка, спрос не беда,— бодро ответил Лифан Иванович.

Лифан Иванович ушел в мельницу. Иван Васильевич взял в горсть колосьев, пожал, и вода закапала на землю. Он покачал головой. Рабочие сочувственно смотрели на его опыт.

— Как угодно, а, по-моему, ничего из этого не выйдет,— проговорил он улыбаясь.

— Выйдет не выйдет,— заслуга не ваша будет. Скажу вам одно, что если бы все так рассуждали, как вы, то люди до сих пор бы руками хлеб молотили.

Наконец, в окне мельницы показалась голова Лифана Ивановича.

— Готов. Пущать, что ли?

— С богом,— отвечал я.

— Ну, дай же бог,— сказал Лифан Иванович и, сняв шапку, перекрестился.

Перекрестились и все. Лифан Иванович скрылся. Я встал у барабана. Послышался шум падающей воды и плеск ее по водяному колесу. Передаточное колесо тронулось. Ремень натянулся, и барабан с гулом завертелся. С каждым оборотом гул и быстрота усиливались. Наконец, барабан завертелся так, что отдельные зубья слились

в одни сплошные полосы, и он стал издавать однообразный, сплошной, ровный гул.

Я пустил первый сноп в барабан и, поддержав его некоторое время, вынул назад. Оставшиеся колосья были пусты. Опыт удался. На другой день молотьба была в полном разгаре. Отчетливо и гулко работал барабан. В нижнем отделении насыпались зерна для посева.

Десятки крестьянских телег ждали очереди, надоедая и приставая ко мне отпустить каждого прежде других. Мои мужики, начавшие было роптать, что я «ошибил» их тем, что отвел время на пашню, повеселели, когда получили заимообразно семена. Я воспользовался этим и выдал им строго по расчету, сколько нужно на десятину. К просьбам о прибавке я оставался глух и нем, как рыба. Вся округа всполошилась,— всем нужны были семена, ни у кого их не было, все готовы были брать их на каких бы то ни было условиях, только не за наличные деньги,— денег ни у кого не было. Я выдавал всем или целым обществам, или отдельным товариществам за круговою порукой, с условием возвратить взятое количество пудов в сухом и чистом виде к новому году.

Условия были выгодные и для них и для меня, для них — потому что пуд ржи дошел до одного рубля вместо сорока копеек, а для меня было выгодно то, что вместо сырого я получу сухой хлеб, что составляло разницу процентов на пятнадцать.

Молотилка работала день и ночь. Окончив молотьбу на семена, я начал молотить хлеб на продажу, высушивая на своих сушилках.

Приехал Чеботаев посмотреть. Он пришел в восторг и горячо поздравил с успехом.

— Поздравляю, поздравляю! — говорил он после лазанья за мной по всем мытарствам моего молотильного заведения.— Маг и волшебник! Отлично, отлично!

— Ну что, служить ехать или хозяйничать?

— Хозяйничать, батюшка, хозяйничать. Вам можно. Я очень рад, что ошибся.

— «Могий вместити да вместит»,— повторил я его любимую фразу.

Мы оба весело рассмеялись.

— Разве может сравниться с этою деятельностью служба? Там вместо меня кандидатов миллион, а здесь

я незаменим. Здесь каждый мой день проходит с пользой и толком; каждый день я оставляю видимый след моего существования. Если господь даст мне долгую жизнь, вся она под конец будет у меня, как на ладони. Все то, что я сделал, и миллион того, что сидит у меня в голове, скажут больше мне и детям моим, чем разные архивные предания о моей службе.

— С богом, с богом. Теперь вам только к нам в земство.

— Я в земство не пойду. Во-первых, я еще не вполне ознакомился с существующим положением дел, а во-вторых, я не променяю природу на людей. Природа мой враг, но враг честный, великодушный, добросовестный. В случае моей победы этот мой враг первый закричит обо мне, дав мне тройной урожай. А там — люди. А вы знаете, и в церкви молятся: «Избави нас, боже, от клеветы человеческой». Люди за добро, за любовь к ним мстят и грязью марают. Каждого отдельно я люблю, всегда помогу ему, чем могу, но я не люблю масс, стада людского. Я боюсь его,— в будущем оно воздаст справедливо, но в настоящем сделает всякую гадость и отравит жизнь.

VII. ОТПРАВКА В ГОРОД ХЛЕБА

Организация местной хлебной торговли.— Поездка в город за деньгами. Разговор с Чеботаевым.— Планы относительно сбыта хлеба.— Русский американец.— Организация отправки хлеба помимо города прямо в Рыбинск.— Зима, весна, неурожайный год.— Рыбинск.

Время шло, погода, наконец, установилась, но большая часть урожая погибла. Благодаря сушилкам я представлял счастливое исключение. Весь почти мой хлеб, высушенный, лежал в амбарах, и я с нетерпением ждал времени, когда погода позволит отправить его в город для продажи, так как в деньгах сильно нуждался. Правда, сушка стоила мне лишних денег, но я с лихвой надеялся наверстать их продажей хлеба в такое время, когда, почти наверное, ни у кого его не было. Как только просохла дорога, я послал для пробы пятьсот пудов. Партия была продана по семьдесят две копейки. Мне обошлась молотьба

и сушка по тринадцати копеек с пуда, извоз пятнадцать копеек, земля, пашня, удобрение, жнитво, подвоз снопов, администрация — тринадцать копеек. Итого сорок одна копейка. Пользы получалось тридцать одна копейка за пуд, то есть до семидесяти пяти процентов. Долго не думая, я послал сразу партию в десять тысяч пудов.

Увы! С моим хлебом повторилась обычная история.

Продажа хлеба производится у нас в городе, куда его привозят на лошадях (по железной дороге, несмотря на то, что она находилась от меня на расстоянии всего пятидесяти верст, а город в ста тридцати верстах, возить невыгодно: мешки, нагрузка, выгрузка, доставка в городе на базар,— все это значительно превышало стоимость провоза на лошадях).

Вся хлебная торговля сосредоточена в руках пяти-шести купцов, которые и покупают его по очереди на базаре, делая так называемую «одну руку». Смотря по надобности, купцы повышают или понижают цены. Мало хлеба на базаре — цена повышена, слух быстро разносится по деревням, и хлеб в изобилии появляется на рынке. Тогда купцы сбавляют цену, зная, что назад хлеб не повезут.

Мой хлеб был единственный на базаре. Проведав, что хлеб одного владельца, купцы, промучив приказчика три дня, заставили его продать весь хлеб по двадцати восьми копеек.

— Да как же вы смели? — закричал я.

— Помилуйте! Что ж мне было делать? В первый день мне предложили сорок пять копеек, на второй тридцать пять копеек, а на третий двадцать восемь копеек, с угрозой на четвертый дать только двадцать копеек. Подводчики ждать не хотят, чуть не за горло хватают, чтобы дать расчет. Ехать назад? Туда да назад — лишних тридцать копеек выбросишь — опять толков нет. Знаю к тому же, что вы без денег. Ссыпать в городе и ждать время — извозчиков нечем рассчитать. Подумал-подумал и продал.

Выходило так: хлеб, подвезенный в снопах к молотилке, выгоднее было подарить мужикам, так как только молотьба, сушка и извоз окупались. Все остальное: земля, семена, пашня, жнитво, подвоз,— пропавшие деньги. В конце концов вместо семи тысяч двухсот рублей я получил две тысячи восемьсот рублей. В переводе на русский

язык это значило, что надо было ехать немедля в город занимать денег, так как полученных для расчета не хватало.

По дороге я ночевал у Чеботаева. Когда я ему рассказал, в чем дело, он проговорил:

— Вот тут и хозяйничайте.

— Ведь это черт знает что такое! — волновался я, ходя по богатому кабинету Чеботаева, в то время как хозяин, закинувшись, полулежал на широком, черным сафьяном обитом диване.— Если разбойник на большой дороге меня грабит, у меня есть утешение, что я как-нибудь могу с ним бороться, могу убить его; наконец, если он убьет меня, его могут поймать,— одним словом, тот хоть чем-нибудь рискует, а эти негодяи ничем. Сидят себе на скамеечке, гладят свое жирное брюхо и хохочут нагло: «Как ловко, дескать, барина распотрошили...» Тьфу, гадость какая! И это хлебная торговля в стране исключительно земледельческой,— в стране, которая только и держится своею хлебною торговлей! Точно нарочно весь край отдан в руки пяти-шести негодяев, которые что хотят, то и делают. Ты работаешь, хлопочешь, добиваешься невозможного — для чего? — для того, чтобы набить карманы пяти-шести дармоедам, а самому лечь костьми. У тебя хлеб, ты представитель труда, знания,— эти дармоеды, эти акулы, кроме аппетита, ничем не обладают. Им полный кредит — общественный банк, государственный, тебе — ничего.

— Да, все это так,— соглашался Чеботаев,— а все ж таки, батюшка, вы сами виноваты.

— Чем виноват?

— Тем виноваты, что не в урочное время свой хлеб повезли. Такого факта не могло быть, если бы ваш хлеб продавался в то время, когда все продают. Ну, много-много гривенник потеряли бы, но не сорок копеек. Послали же вы не во-время в надежде заработать лишнее, так сказать, не заслуженное, шли на риск,— не будьте же в претензии, что вместо заработка получили убыток.

— По-моему, так, как вы, нельзя смотреть на вещи. Гадость, какую со мной проделали несколько негодяев, вы возводите в какую-то теорию и обвиняете меня же. После этого, если меня ограбят на большой дороге, виноват буду, по-вашему, я, потому что ехал по дороге, зная, что на дороге разбойники.

— Надо принимать соответственные меры, а раз вы их не принимаете или не желаете принимать,— некого, кроме себя, винить.

— Какие же меры против них принимать?

— Везите ваш хлеб, когда все везут; поручайте продажу вашего хлеба опытным посредникам.

— А если мне некогда ждать того времени, если мне деньги нужны?

— Ведите ваши дела так, чтобы деньги вам были не нужны, а без этого вам нечего и хозяйничать. У нас нет кредита, поэтому или надо продавать хлеб за бесценок, или кредитоваться у частных лиц, чего от души вам не советую, так как стоит только начать, и вы не оглянетесь, как они оплетут вас всего. Чтобы избежать всего этого, вы, ведя хозяйство, должны вести свои дела в таких рамках, чтобы ваш годовой бюджет заходил год за год, то есть чтобы к тому времени, когда вам нужны деньги и когда вы начнете продавать первый урожай, второй чтобы уже лежал в ваших амбарах.

— Может быть, это и благоразумно, но многие ли могут выполнить вашу программу?

— Прежде других вы, так как, приступая к хозяйству, вы имели оборотный капитал, в четыре раза превосходивший ваш годовой бюджет. Да, наконец, что ж из того, что немногие могут выполнить. Оттого так немного народу и может удержаться в деревне. Все эти обвинения нас, дворян, в том, что мы прокутили наши состояния, в общем совершенно неверны: все деньги нам оставлены большею частью самым добросовестным образом в имении же, но причина дворянского разорения именно и заключается в этом разбрасывании, в забегании вперед.

— В чем же я разбрасывался? Разве не полезно все, устроенное мною? Вы же сами одобряли.

— Одобрял и одобряю. Полезно, но не необходимо. Устройте все это из доходов — другое дело. Из доходов хоть дворцы стройте, но капитала не трогайте.

— Но возьмите немцев: если б они не затратили по десяти тысяч рублей на свой надел, они никогда не достигли бы того блестящего положения.

— То немцы, а то мы. Немец скажет: «больше нельзя» — и знает, что не пойдет. Немец, если надо, круглый год черный хлеб ест, а вы не будете. Немец из получен-

ного барыша ни одной копейки не подарит своему работнику, а вы из будущего, не существующего еще, умудритесь отдать весь свой заработок.

— Ну, уж и весь,— мой пуд против вашего обошелся на шесть копеек всего дороже, но, если принять, что сушка мне стоила восемь копеек, переплата за извоз четыре копейки, так выйдет, что я на шесть копеек дешевле, несмотря на всякие прибавки, имею свой хлеб, чем вы. Без тех затрат, которые я сделал, я не мог бы достигнуть этого: это во-первых. Во-вторых, следующее: если бы вместо этих акул-купцов у нас были элеваторы, если бы вместо того, чтобы везти свой хлеб сто тридцать верст на лошадях и волей-неволей доверять его дураку-приказчику, я, при существовании элеваторов, свез бы его на станцию железной дороги, то есть провез всего пятьдесят верст, то и не был бы в таком положении, в каком очутился теперь.

— Кто же об этом говорит? Разве с самого начала я не говорил вам, что будь все это так, как должно быть...

— Значит, вопрос сводится вовсе не к тому, чтобы сидеть, да смотреть, да приспособляться к существующим безобразиям, а к тому, чтобы бороться против этих безобразий.

— Как же вы будете бороться?

— А так, что с этой минуты ни одного фунта хлеба я не продам больше этим акулам, вашим городским купцам.

— Что ж, вы его съедите?

— Нет, не съем; а повезу его сам в Рыбинск, куда и они везут.

— Это уж совсем оригинально. У вас не хватает средств приготовить этот хлеб, а вы его еще хотите везти в Рыбинск. Это я и называю разбрасыванием.

— Да в чем же тут разбрасывание? Вы сами же говорите, что с хлебом надо выжидать,— вот пока вы выжидаете, я перевезу свой хлеб в Рыбинск! Купцы нанимают же барки, и я найму.

— Но в барку пойдет сто тысяч пудов, а у вас двадцать, а остальные?

— Я составлю компанию.

— Ну! — махнул рукой Чеботаев.— Да где же вы найдете людей для этого?

— Вас первого.

— Я не пойду.

— Буду искать других.

— Нет, батюшка! Это уж не хозяйство, а верное разорение. При других условиях из всего этого, может, и вышел бы толк, но при наших, в этих обломках еще не пережитого прошлого, так сказать на развалинах Карфагена, бросаться очертя голову, преодолевать вековые препятствия, имея семью, это, батюшка, извините, безрассудство.

Так мы с Чеботаевым ни до чего и не договорились. Каждый стоял на своем. Под конец мы оба разгорячились и подняли такой крик, что на выручку к нам пришла Александра Павловна, жена Чеботаева.

— Вы такой крик подняли, что прислуга думает, что вы насмерть ссоритесь. Идем лучше чай пить. Удивительный вы народ, право. Друг без друга скучаете, а сойдетесь — точно враги смертные. Вы бы хоть пример брали с Надежды Валериевны и меня.

— Вы, женщины, неспособны воодушевляться общественными вопросами,— ответил Чеботаев, толкая меня в бок.

— Скажите, пожалуйста,— спокойно усмехнулась Александра Павловна, усаживаясь за чайный стол.— Была я на вашем земском собрании, видела ваше воодушевление.

— Она,— Чеботаев кивнул на жену,— попала как раз, когда мы ломали вопрос о страховке скота; в конце концов только я, К. да Ку—в и подали голоса за страхование.

Наступило молчание.

— Я, батюшка, в земстве избрал себе благую часть — школу.

— Я слышал про вашу деятельность,— отвечал я.— Но опять, извините, не согласен с вами. В рамках программы вы делаете действительно все, что можете, но сама-то программа, по-моему, не стоит выеденного яйца.

— Почему? — вспыхнул Чеботаев.

— Да помилуйте! Вы тратите массу денег для того, чтобы выучить ребенка читать и писать. Это беспочвенное отвлеченное знание, во-первых, приносит ему весьма мало пользы и скорее вред, так как этим знанием пользуются большею частью для того, чтобы стать выше толпы, бросить свой крестьянский труд, и только в редких случаях

употребляют его на что-нибудь другое — вроде чтения священного писания... Во-вторых, эти знания по своим результатам далеко не соответствуют тем затратам, какие на них делаются. За эти деньги, по-моему, можно дать настоящее, прямо к цели направленное образование. А главная цель — улучшение благосостояния крестьян; и учи их, начиная с маленького возраста, как улучшать это благосостояние. Заводите учителей, которые знали бы обработку земли, были бы хоть немного агрономами, поставьте все это на практическую почву,— вот это будет школа.

— Прежде всего, школа не должна преследовать корыстных целей. Цели ее исключительно воспитательные.

— Да благосостояние и воспитание в тесной связи между собой,— перебил я горячо Чеботаева.— Ну что же вы будете воспитывать человека, которому есть нечего? Научите прежде его, как честно хлеб он должен добывать себе, а вместе с этим вы и сами не заметите, как придет то воспитание, которое вы хотите ему дать.

И снова загорелся между нами спор, который длился до самого ужина.

— Нет, господа! я сегодня вам больше не дам спорить,— объявила нам за ужином Александра Павловна.— Вы оба завтра заболеете.

Мысль обойтись в продаже хлеба без возмутительного посредничества местных акул не давала мне покоя всю дорогу. Я, между прочим, вспомнил рассказы местных жителей о том, что Петр Великий устроил в пятнадцати верстах от моего имения серный завод, а когда дело не пошло, то сплавил его к устьям Волги, воспользовавшись для этого протекавшею мимо завода рекой Сок, впадающею в Волгу. Мысль воспользоваться рекой, протекавшей всего в пятнадцати верстах от меня, просто жгла меня. Если она была при Петре сплавной, то и теперь она должна быть такой же. Единственно, что могло служить препятствием,— это настроенные мельницы, но, сделав изыскание и доказав сплавную способность реки, можно было настоять на уничтожении мельниц в тех пределах, где река могла быть сплавной.

В Красном Яру, большом селе, находящемся в шести-

десяти верстах от моего имения, расположенном на реке Соке, пока перепрягали лошадей, я пошел посмотреть на эту реку. Каково же было мое удивление, когда на берегу я увидел громадную баржу. От рыбаков, сушивших на берегу сети, я узнал, что этою весной в первый раз один купец, Юшков, сплавил из Красного Яра в Рыбинск баржу с хлебом. Стоявшая на берегу барка была арендована им же. Моя мысль была наполовину предвосхищена.

Юшков в нескольких верстах от Красного Яра арендовал большую мельницу. Вопрос был настолько важный, что я своротил с большой дороги и заехал к нему на мельницу, чтобы разузнать все, касавшееся интересовавшего меня вопроса.

Мельница Юшкова с массою построек была расположена на открытом месте. Все постройки были каменные и крытые железом. Усадьба была обнесена высокою каменною стеной. Через широкие ворота мы въехали в большой чистый двор. В углублении его, с правой стороны, стоял красивый каменный флигель, отделенный от остального двора решетчатым забором, крашенным зеленою краской. За забором виднелись домашние постройки — конюшни, сараи и прочее. Большие зеленые железные ворота этих строений были заперты громадными тяжелыми замками. В окнах флигеля виднелись скромные занавески и цветы. С левой стороны двора помещалась мельница, а прямо напротив — ряд амбаров. Чистота и порядок бросались на каждом шагу в глаза. Хозяин был в мельнице. Имея сам мельницу, питая к ней даже некоторую слабость, я сейчас же увидел, что Юшков прекрасно понимает мельничное дело. В этом не трудно убедиться. Если мельница работает без шуму, если пол не дрожит под вами, если в механизме ничего не стучит, если мука из-под камня идет холодная, мягкая, пухлая, ровною струей, если камень вертится ровно и плавно, как по маслу, а не прихрамывает на один бок,— значит, все дело в порядке.

Чтобы добиться такого порядка, нужно, чтобы хозяин сам сумел почти что выстроить всю мельницу,— все здесь зависит от таких мелочей, которые не специалисту покажутся сущим пустяком, но в которых вся сила. Юшкова я застал возившимся за ковшом, который, по его мнению, неравномерно двигался, вследствие чего хлеб неравномерно попадал под камень. Это был человек лет сорока,

высокий, широкоплечий, худощавый, слегка сгорбленный, с умными, выразительными глазами и с русою подстриженною бородкой.

— Чем могу служить?

Я назвал себя и объяснил цель своего приезда.

— Ехал я сюда и думал, что вот не худо бы воспользоваться Соком для сплава хлеба, и вдруг узнаю, что уже моя мысль вами приведена в исполнение. Я не мог себе отказать в удовольствии познакомиться с вами.

— Очень приятно. Рад служить, чем могу. Я тоже о вас слышал. Слышал и о ваших новинках и о том, что наши горчичники вам подстроили.

И когда я не сразу понял, он добродушно подмигнул и сказал улыбаясь:

— Насчет продажи-то вашего хлеба...

Он делал сильное ударение на о.

— А-а! слыхали?

— Как же, слышал. Одно слово — горчичники. Мне-то они сколько крови испортили. А теперь уж я им портить стану,— дай срок. Что ж, однако, мы тут стоим? В горницу милости просим, закусить чем бог послал, чайку напьемся.

Он повел меня через двор к флигелю.

— Что это у вас за столбики? — спросил я.

— Это мой телеграф,— рассмеялся Юшков.— Всякий народ живет, строго надо быть. Вот, как ночь придет, я свой механизм от столбика к столбику и проведу. Чуть кто тронул, а у меня уж звон в комнате.

— Осторожный же вы.

— По нынешним временам нельзя.

В это время на двор въехала телега с хлебом.

— Ты что? — крикнул Юшков мужику.

— Хлеб надо? — спросил тот.

— Рожь?

— Знамо, рожь.

Юшков подошел к возу.

— Покажи.

Крестьянин нехотя стал разворачивать полог.

Юшков быстро запустил руку в воз и вынул из глубины горсть ржи.

— Сыровата,— сказал он, осматривая зерно и пробуя его в зубах.

— По нынешним временам суше не будет,— уверенно ответил мужик.

— Ну, ладно,— подожди здесь, пойду свешу.

Юшков и я пошли. Когда мы входили в комнату, крестьянин решил следовать за нами и не спеша, уверенною походкой направился к калитке.

Я заметил, что Юшков замедлил шаги, стал рассеянно отвечать на мои вопросы и внимательно, но незаметно начал следить за мужиком. Я скоро понял, в чем дело. Чуть только крестьянин отворил калитку, как громадная цепная собака с страшным лаем, выскочив из конурки, которую я не заметил при входе, набросилась на мужика.

— Ай-ай-ай! — закричал благим матом крестьянин, мгновенно отскакивая за калитку.

— А я тебе что ж сказал: чтоб ты подождал? — с невинною миною спросил Юшков.— Так ведь шутя и без носу останешься.

— А хай ей, проклятой, чтоб она подохла! — выругался в утешение себе крестьянин, направляясь к возу.

— Другой раз не пойдешь самовольно,— говорил Юшков, всходя на крыльцо,— и другим закажешь.

Комнаты в квартире Юшкова были низенькие, но чистые; воздух спертый: пахло лампадным маслом.

— Милости просим,— указал он на приемную.

Эта комната аркой делилась на две: в одной стояла в чехлах гостиная мебель, в другой помещалась столовая. Гостиная мебель была на европейский манер.

— Прошу садиться,— говорил Юшков,— а я пока распоряжусь едой.

Когда Юшков возвратился, он прежде всего вынул из буфета прибор для определения веса хлеба и внимательно взвесил принесенный с собой образец ржи. Потом, взяв карандаш и бумажку, он сделал какой-то расчет, позвал человека и сказал:

— Иди к тому мужику и скажи, что в городе ему за хлеб дадут пятьдесят две копейки. Извоз до города восемь копеек, остается сорок четыре копейки. Если хочет за сорок шесть ссыпать, пусть ссыпет, нет — пусть уезжает. Больше ничего не прибавлю; две копейки против города прибавлю за чистоту.

Человек ушел, и Юшков наблюдал в окно. Вот посланный подошел к крестьянину, что-то сказал ему, крестьянин

сердито махнул рукой, подошел к лошади и за повод повел ее за ворота.

— Скатертью дорога,— сказал Юшков, отходя от окна.— Вы думаете, он уедет? Ничуть не бывало! Выедет за ворота и будет ждать, не пошлют ли за ним. Хитрый народ! Он лучше меня знает городскую цену и знает, что я ему правду сказал. Постоит и отдаст. Все ж таки я доволен. Лет шесть тому назад, как я поселился здесь, они возили мне такой хлеб, что хоть свиньям его бросай, а потихоньку я приучил их очищать хлеб. Вот посмотрите,— такого хлеба в город не повезут.

Хлеб действительно был чистый. На мой вопрос, как он додумался до сплава по Соку, Юшков сказал:

— Нужда додумалась. Доняли меня городские горчичники. Дай-кось, думаю, съезжу в Рыбинск. Повез небольшую партию, узнал дорогу,— ну, и начал возить. А тут и насчет Соку надумался. Поговорил с тем, другим, с пароходчиками разговорился,— тары да бары — сел в лодку, да и поехал до самого устья. Только одна мельница и мешала. Снял я ее в аренду за тысячу рублей в год, разобрал плотину с подпиской собрать ее, как отдержу срок, и провел пароход. После этого нанял две барки и стал скупать хлеб. В банке кредит мне открыли — вот одну барку нынче и сплавил; хотел другую, да не хватило хлеба,— народ еще мало знаем кругом. Нынче надеюсь две барки.

— И выгодно?

— Когда не выгодно: против городских-то горчичников на шесть копеек дешевле. Цена за провоз до Рыбинска та же, что из города, что отсюда — шесть три четверти копейки с пуда со страховкой, со всем уже.

— Это, значит, от меня,— сказал я,— выйдет вот что: к вам семь копеек да до Рыбинска шесть три четверти, итого тринадцать три четверти копейки, теперь же я только до города плачу пятнадцать копеек, а на тысячу двести верст дальше буду платить на копейку с одной четверти дешевле — ловко!

— Ну, а если бы я предложил себя к вам в компанию по доставке хлеба в Рыбинск? — спросил я Юшкова, когда мы сидели за чайным столом.

— Что же? С моим удовольствием. Вам как угодно — на комиссию мне хлеб дать или самим отправлять? Если

на комиссию, я возьму с вас три копейки с пуда. Если хотите участвовать во всех расходах и быть самим отправителем, я возьму с вас полкопейки.

В мои планы входило быть участником, что я и объяснил Юшкову.

— Я желал бы,— сказал я,— сделать опыт. Если бы он удался, то, может быть, удалось бы вместе с вами организовать большое дело. Мы бы брали хлеб на комиссию и покупали бы его. Если бы дело пошло, мы могли бы устроить что-нибудь вроде американских элеваторов, выдавая под хлеб ссуды, а после продажи додавали бы остальное, удержав себе комиссионный процент.

Я рассказал ему в общих чертах устройство элеваторов в Америке.

Он внимательно слушал и высказал большое сочувствие моей идее.

— Я вот и не знал, как в Америке ведется это дело, а и у меня устроено так же, как у них. Например, хоть очистка хлеба. Вы думаете, я, как купил хлеб, так и везу его? Нет. У меня каждый хлеб доводится до натуры. А что ж эти горчичники? Хороший хлеб — вали, плохой — туда же, сухой, сырой — все в одно место. Этакую кашу свалить — он у него и подопреет и слежится. Ему что? Лишь бы гривенник на пуд сорвать, а там хоть трава не расти. Этакое животное — и в голову себе не берет, что он подрыв всему нашему делу за границей делает. Я считаю, что с нашим хлебом заминка за границей только от нашей халатности идет.

— Совершенно верно,— сказал я.— Вы знаете, например, факт, что в Штеттине существует масса элеваторов, которые делают то, что вы делаете, то есть русский хлеб сортируют, отбросы продают по той цене, по какой хлеб у нас покупают, а очищенный хлеб вдвое дороже.

— Ну вот,— подхватил Юшков.— А провоз этого отброса через всю Россию — тут опять накостим на четверть на худой конец пятьдесят копеек, а то, что этим цена на хлеб совсем другая выходит — это чего стоит?

— Я следил, например, за газетами,— продолжал я.— В прошлом году, когда у нас пшеница продавалась по семидесяти копеек, в Лондоне в то же время цена на нее была два рубля. Вот и считайте, что мы платили за нашу халатность. А вот в Америке этого не может быть. Я сдал

свой хлеб в элеватор, получил квитанцию, номер моего хлеба инспекция обозначила — и весь мой хлеб в кармане. Когда захотел, где захотел — продал. Тяжелый, громоздкий продукт превращается в товар не тяжелее той бумажки, на которой написано его количество — те же деньги.

Долго еще мы разговаривали с Юшковым и порешили на том, что он мне уступает в барже место на тридцать тысяч пудов, которые я в течение зимы должен буду свезти к нему в кулях и сложить в бунты. Хлеб должен быть очищенным и по возможности доведен до натурального веса. Он показал мне тот способ, каким он очищал свой хлеб, с тем чтобы и я у себя на мельнице завел такие же приспособления.

— На этой очистке не только убытка нет, но чистая польза будет. С пуда слетит у вас фунта два отбросу, то есть на прокорм вашего скота у вас получится тысяча пятьсот пудов прекрасного корма, да за пуд получите вы копейки четыре дороже, а два фунта стоят две копейки, таким образом две копейки останутся,— на тридцать тысяч пудов это шестьсот рублей.

Моего хлеба у меня оставалось тысяч десять пудов, остальные двадцать тысяч я решил скупить у окрестных крестьян.

Вследствие этого, ввиду предстоящего дела, денег мне нужно было около двадцати тысяч рублей, которые я и решил взять в общественном банке под залог имения. Директор банка был из купцов, в длиннополом сюртуке, с солидным брюшком. Он сказал мне, что залог — это длинная процедура и раньше весны денег мне не выдадут, что гораздо проще взять у него денег,— дороже на два процента, но зато спокойно, без всяких вычетов, а в банке, как все посчитать, так не восемь процентов, а все двенадцать выйдут.

— А кредит в банке по векселям вы мне не откроете?

— Этого никак нельзя. По нашему делу, ежели наш брат купец начнет хозяйством заниматься — и тому сейчас кредит сбавляем. По нынешним временам веры вам, помещикам, нет,— самое пустое дело нынче хозяйство. Вот, если с торгов либо по случаю купить землю да под распашку пустить ее в сдачу,— ну, тут убытка нет, а чтобы хозяйством — по нашим временам нельзя. Какое хозяйство может быть, когда на базаре хлеб дешевле купить,

чем его снять? Где же нам тягаться с мужиком? У него труд свой, неоплаченный,— что дали, то и ладно,— а мы-то за все заплати... Нынче только мужику и сеять.

— Мужик с десятины получит шестьдесят пудов,— ответил я,— а разными улучшениями я добьюсь с той же десятины двести пудов. Вот почва, на какой возможна конкуренция с крестьянами.

— Нет, двести пудов никогда вы не получите. По вашим местам вся сила в дожде,— не будет его, так же черно будет на вашем поле, как и у мужика.

Спорить было бесполезно, и я уехал, обещая обдумать предложение относительно займа денег у него. Сделал я было попытку обратиться к другим капиталистам, но условия директора банка оказались самыми выгодными. Купец Семенов объявил, что под имение меньше сорока тысяч не согласен дать. Процент — девять годовых, закладная на десять лет, все проценты за десять лет приписать к закладной, неустойка десять тысяч рублей. В случае неуплаты в какой-нибудь из сроков срочного платежа, волен он, Семенов, взыскать с меня всю сумму сполна, то есть, выдавая мне на руки сорок тысяч рублей, Семенов желал в закладной написать сумму восемьдесят шесть тысяч рублей, которую всю и взыскал бы с меня в том году, когда я не смог бы или опоздал внести срочный платеж — три тысячи шестьсот рублей. Семенов, в то время когда я обращался к нему, имел уже с лишком двести тысяч десятин,— все таким способом приобретенные исключительно от дворян.

Попробовал я поискать денег под вексель. Копия Семенова, бывший военный, ростовщик Клопов попросил двадцать четыре процента годовых и сверх суммы вексель на пять тысяч рублей в обеспечение, как он выразился, долга. Все остальные предложения, куда я ни обращался, были в том же роде, с тою разницей, что чем меньшую сумму я искал, тем несообразнее были требования. Что всего обиднее было, так это то, что все эти господа были твердо убеждены в том, что я денег не в силах буду возвратить и что за выданные деньги они получат мое имение. Они подробно расспрашивали о состоянии имения, а Клопов даже просил особую обеспечивающую подписку, что я не буду рубить лес, не сдам без его согласия землю, не возьму денег вперед и прочее. Одна вдова толковала о

том, что, давая деньги, рискуешь вместо этого надежного товара приобрести ничего не стоящее имение, с которым потом и возись, как знаешь.

— Что ж, у вас усадьба есть, и сад, и пруд, и рыба водится?

Описание всего, видимо, ее соблазняло.

— Ох, уж и не знаю, как,— раздумчиво говорила она.— Возись потом. Ну, уж бог с вами, десять тысяч могу вам дать на шесть месяцев.

— На каких условиях?

— Да что ж, батюшка? Дело мое одинокое, две дочки невесты, вывозить надо, положите две тысячи рублей.

— Это сорок процентов годовых? — пришел я в ужас.

— Вот как с вами, господами-то, иметь дело? Мужик-торговец придет — возьмет сотенку, месяца через три принесет четвертную за процент да еще в ножки поклонится. Вам же решаешься целый капитал вручить, а вы, прости господи, еще фордыбачитесь. Даром, что ли, отдавать вам деньги?

После всех поисков я окончательно остановился на директоре банка, у которого через три дня и получил деньги с удержанием годовых процентов.

Мысль, что я влез в долг, неприятно тревожила меня, но энергично отгонялась сознанием, что долг этот делается производительно, что если удастся провести задуманное в жизнь, то это даст возможность радикально изменить условия хозяйства в моей местности.

Вся зима прошла в хлопотах о заготовке хлеба. Скупая у окрестных крестьян хлеб, я каждому толковал, с какой целью это делаю, и говорил, что хлеб, который я покупаю у них, я беру только на комиссию и что когда продам хлеб,— излишек дохода против расхода, за вычетом комиссионных, возвращу им. Мужики недоверчиво покачивали головами и ничего не говорили.

Заготовка навоза как у меня, так и у мужиков шла деятельно. Петра Белякова и Керова уговорил я валить навоз в кучи, а не разбрасывать отдельными возами. За то же, что весной у них будет лишняя работа при развозке навоза, я подарил им по два кряжа на доски для устраиваемых ими амбаров.

В эту же зиму помирился я и с пятью богатыми мужиками моей деревни — Чичковым, Кискиным и другими, которые, как я уже говорил, уходили на новые земли искать счастья.

Попытка уйти оказалась неудачной. Они причислились к одной мордовской деревне с наделом пятнадцать десятин на душу. Всего у них было вволю: и земли, и леса, и воды. За право приписаться к обществу с них спили с каждого по пяти ведер водки и разрешили пользоваться душевым наделом с ежегодною платою по девяти рублей. Сначала переселенцы были счастливы и чувствовали себя чуть не на седьмом небе. Мои князевцы, с их слов, называли их счастливцами и говорили, что им теперь и помирать не надо.

— Прямо в рай попали: ты гляди — девять рублей за пятнадцать десятин, а у нас сколько денег-то отдать за тачую уйму земли надо?

Выходило, что отдать надо сорок три рубля.

— Видишь, чего? Где ж тут вытерпеть?

Появление через год богатых с просьбой пустить их обратно удивило одинаково и мужиков и меня.

— Как же это так? — спрашивал я возвратившихся.— Ведь вы сами же так расписывали свое благополучие?

— Да что ж, сударь, правду надо говорить,— отвечал Чичков.— Оно, конечно, шестьдесят копеек за десятину цена пустячная против наших цен,— вовсе даром. Да что же, когда и этих денег их земля-то не стоит? Первое, что здесь все в цену идет: воз соломы, и тот рубль стоит, а там и даром она никому не нужна. Теленок в наших местах три рубля, а там и за полтинник его не продашь. До города двести пятьдесят верст, повезешь хлеб — с пуда-то пятнадцать копеек, больше не придет, а здесь на худой конец тридцать копеек получишь. Опять же народ несообразный, правды нет, за водку все сделаешь. Поле дали дальнее, двенадцать верст от жилья. Половина сгнила, другую без малого всю разокрали,— как посчитали-то за год, так и увидели, что без малого половину денег-то порастрясли. Копили годами, а прожили годом. Ну, вот и надумались опять к твоей милости.

— На общих основаниях — с удовольствием,— ответил я.

— Позвольте, сударь, не идти на контракт. Уж вы лучше дальнюю земельку перепустите за нас.

— Нет, не дам.

— Ведь странним же сдаете, чем же мы хуже? За нами деньги не залежатся, хоть за весь год вперед отдадим.

— Не в деньгах сила. Без контракта вы пошли мутить народ, сегодня здесь, завтра перебираться. Насмотрелся я. А вот, как сядете на контракт, у вас одна думка и будет.

— Да нам что мутить-то? Каждый как знает, так и живет. Народ-то уж по-твоему наладился — и бог с ними. Пожалей и нас: мы тоже твои, ведь на этой земле выросли, отцы наши тут лежат, маемся мы по свету, как Каины, и угла не найдешь. Пожалей, будь отцом.

Сознательно или бессознательно они попали в самое больное место мое,— мысль, что я лишил их некоторым образом родины, часто не давала мне покою.

— Не могу я ничего сделать. Придумайте что-нибудь другое, а земли я вам сдавать не буду,— соблазн другим.

Несколько раз приходили богатые, и ничем наши разговоры не кончились.

— Ну, дозвольте нам так,— предложил раз Чичков,— станем мы жить на деревне, скотину дозвольте нам пасти на вашем выпуске, а землю станем мы брать на стороне у соседних помещиков.

Задумался я.

— Что ж, на это я согласен. Насчет выпуска со стариками поговорите,— это до меня не касается. Деревня позволит — и я согласен.

С деревней у них дело скоро сладилось: пять ведер водки и по одному рублю со скотины за лето.

— Ведь они лучше вашего вышли,— говорил я князевцам, узнав про сделку.

— Знамо, лучше.

— Да как же так? Опять они вам сели на шею. Теперь за них вы будете работать.

— Чего будешь делать? Стали просить — подали по стаканчику, в голове зашумело, раздразнились, потянулись за водкой и пропили выпуск.

— Вы точно малые дети; как же вам не стыдно?

— Дети-то оно дети, да и без них нельзя. Вот, к примеру, жнитво: ты нам не сдаешь, а они уж сдачу открыли.

— Как! Сдают?

— Сдают.

— Почем?

— По три рубля.
— Да ведь летом жнитво по десять рублей.
— Да лето-то далеко, чего станешь есть?
— Ну, так вот что: и я сдавать стану жнитво, сейчас пять рублей, а летом остальные, а рубль против цены, какая будет меньше.
Почти все мужики забрались у меня жнитвом.
— Ну что, перестали у богатых брать?
— Которые перестали, которые берут.
— Да какой же расчет? Почему же не у меня берут?
— Потому что у тебя взяли уже. Это по другому разу.
— Как же вы успеете?
— Успеем, бог даст.
— А если не успеете?
Мужики смеются.
— Сперва ты поневолишь, потом за свое бог даст, живы будем, примемся, а там, что поспеем, и на них поработаем, а что не успеем — до будущего года. Вот с тобой деваться некуда, а с ними беда не велика: хочу выжну, а не хочу — что он со мной поделает?
— Работ не станут давать.
— К другому пойдем. Много их, охотников на даровщину.
Я спохватился, но уже было поздно, что сделал ошибку, разрешив богатым снова поселиться в Князеве. Крестьяне в этом отношении мало думали о будущем: они, что могли, брали у меня в долг, а когда я отказывал, шли к богатеям. В результате они были в долгу, как в шелку.
— Работаем, как лошадь, а толков никаких; так, в прорву какую-то идет. Хуже крепостного времени выходит.
— Да ведь за каждую работу вы сполна же получаете. Сами же вперед берете; сами говорите, что есть нечего.
— Конечно, сами. Другой раз и нечего, а другой раз так зря возьмешь деньги, изведешь их без пути, а потом и поворачивайся, как знаешь. Хоть, к примеру, извоз. Целую зиму скотину, себя маешь, а что у тебя заработали? — и за землю не наверстали.
— Зато же у вас строения новые.
— Новые-то новые, да их есть не станешь, как нужда придет. Опять с урожаем подшиблись: считали — и бог весть сколько, засыпемся хлебом, а он-то на пятьдесят пудов обошелся.

— Кто же тут виноват, что хлеб погнил?

— То-то оно и есть, что мы-то своим грешным умом и так и сяк, а забываем, что над нами-то бог.

— Да при чем тут бог?

— А вот и при чем. Мы-то его знать не хотим, а он-то нас знает. Ни один волос без его воли не упадет с нашей головы. Так-то, сударь,— укоризненно заканчивал какой-нибудь Елесин.

— Наладила сорока Якова. Да что ты плетешь, куда надо и не надо, имя божие? — говорил я горячась.— Заповеди забыл: «Не приемли имени господа твоего всуе»; ты ведь по всякому пустяку, по всякой глупости треплешь имя его. Тебе охота на печи валяться, жить хуже всякой свиньи, оправдать себя охота, ты и приплетаешь его святое имя к своим грешным делам. Вместо того чтобы работать, поскорее выбиться из своей нужды, ты только и выдумываешь, как бы от работы отвертеться. Я ли для вас не рвусь пополам? Как какая работа — цена у меня вдвое против людей, а, напротив, как землю продать, лес ли, против меня нигде дешевле не сыщешь. Благодарить, значит, благодарить бога надо, а вы что делаете? Вы ропщете,— а больше этого греха нету. Да и за что ропщете,— хуже вы против людей живете? Не спокоен ли каждый из вас теперь, что, случись беда, нужда — помощь вам всегда готова!

Мужики успокаивались, но при удобном случае опять начинали разговор на ту же тему:

— Эх, запрег ты нас, сударь, как поглядишь, со всех сторон, то есть некуда, некуда мотнуться. Как есть на всю неделю припасена работа. Тут в извоз, хочешь не хочешь, поезжай; приехал — ни чем отдохнуть, навоз вези; свез навоз — опять айда в извоз. Что за беда! Бывало, зиму-зимскую на печи лежали, горя не знали, а тут, почитай, все с отмороженными носами ходим. Ты гляди: буран ли, мороз ли, а ты все неволишь: айда да айда!

— Я и сам не сижу сложа руки, хоть и мог бы по своим достаткам с печи не слазать,— бог труды любит.

— Да уж ты-то заботливый. Мы и то калякаем: везде его хватает. Споначалу думали, станем мы тебя за нос водить, а заместо этого ты же нас впрег так, что ни туда ни сюда. А богатеи только посмеиваются. Вы, бают, теперь

на барщине; только заместо трех дней всю неделю, почитай, работаете.

— А вот станут они мутить, я с ними много не буду разговаривать. Так и передайте им.

Когда пришел Новый год, я объявил им мой ультиматум насчет кабака.

Поднялись страшные протесты. За кабак особенно ратовали самые богатые и самые бедные. Этот союз крайних партий был обычным явлением. Одних побуждала лень, нерадивость, беспечность, разнузданные страсти, других эксплуатация этой лени, нерадивости, беспечности.

Дебаты шли сначала у меня в усадьбе. Богатые стояли на следующих двух аргументах:

1) Водка, по примеру прежних лет, с закрытием кабаков на деревне не переведется: станут тайно торговать разбавленной водкой.

2) Кабак дает им двести рублей в год доходу, которыми они оплачивают батюшку и повинности, с уничтожением же кабака они, таким образом, лишаются крупного дохода.

Я возражал следующее:

— Торговли потайной не будет, потому что я безжалостно буду преследовать продающих водку. Доход с кабака — это только самообман, так как содержатель кабака не даром же им платит и получает с них за свои двести рублей около тысячи рублей в год [1]. Польза от этого только богатым, которые почти не пьют и получают свой пай из двухсот рублей за счет пьяниц.

Мои доводы мало убеждали, и я вынужден был прибегнуть к следующему средству. Я объявил богатым, что их я не признаю полноправными членами схода на том основании, что они не несут наравне с остальными всех тягостей, не работают за выпуск, не берут и не назмят землю и прочее. Вследствие этого я смотрю на них, как на людей, живущих в Князеве, так сказать, квартирантами и не имеющих вследствие этого права голоса в общественных делах.

— А потому, господа, вот вам бог, а вот порог; мы и без вас решим, что нам полезно, что вредно.

---

[1] В соседнем селе Садках кабака по приговору не было, и за водкой ездили в Князево. *(Прим. автора.)*

Богатые раскланялись и с позеленевшими от злости лицами ушли на деревню.

Остальным мужикам я сказал:

— Это мое окончательное решение, чтобы кабака не было. Чтобы вам не так обидно было, я вам сбавлю половину работ по выпуску. Идите и через три дня принесите мне ответ.

Я получил ответ гораздо раньше: на другой день вся деревня поголовно была пьяна по случаю сдачи кабака. Ловкий купец, содержавший кабак, выставил несколько ведер водки, задел их самолюбие, что они не крепостные, и — кабак был сдан. Я рвал и метал. Прежде всего, подозрение пало на богатых. Оказалось, что на сходе никого из богатых не было. Дело, несомненно, было их рук: вечером Чичков ездил зачем-то в пригород, где жил купец; купец, приехав, остановился у Чичкова. Но на все богатыми были даны более или менее удовлетворительные ответы.

— Сын ездил луга торговать, купец всегда у нас стоит, а против твоей воли мы не вышли: запретил — мы и на сход не ходили.

Остальная деревня или угрюмо отмалчивалась, или ссылалась друг на дружку.

— Лукавый попутал. Грех случился — и не оглянулись.

Так как приговор уже был написан и выдан купцу, то запретить открытие кабака я не мог, но мог косвенным образом мешать. Я объявил, что того хозяина, который впустит к себе в дом кабак, я лишу выпуска (выпуск сдавался не по контракту). Купец обошел мое решение тем, что купил у одного бездомного солдата право жить на его четверти десятины. В крестьянском обществе с правильною организацией такого непрошенного гостя легко удалить на законном основании, но в этой нестройной куче мещан, какими были князевцы, без старосты и писаря (они были причислены к обществу сергиевских мещан), нельзя было ничего сделать. Тогда я объявил, что возле кабака постоянно будут стоять два нанятых мною сторожа, которые будут следить за тем, чтобы торговля водкой шла на наличные деньги, а не в кредит. Этим купцу делался страшный подрыв. Для большей убедительности я нанял и за месяц вперед выдал деньги двум сторожам: Елесину и Петру Белякову.

— Ладно,— отвечал купец,— мы и вас и барина вашего под острог подведем.

Когда и это средство не возымело надлежащего действия, я решил напугать купца тем, что сам открываю кабак на своей земле. Я нанял плотников, стал возить лес, говорил, что водку буду продавать по своей цене, не разбавленную, что кто у меня не станет брать водку, а будет брать водку у купца, тот мне враг и прочее.

Все это я говорил совершенно серьезно. Мужики верили и смеялись:

— Ну, теперь день и ночь пьянство будет. Днем у тебя, а ночью у купца, так как ночью ты не станешь же торговать.

Смутился, наконец, купец и помирился со мной на том, чтобы я возвратил ему его пятьдесят рублей, данные в задаток.

Как только ушел купец, и я, конечно, бросил постройку своего кабака, превратив его в баню.

— Ошибил же ты нас, заместо двух — ни одного. Вот так штука! — говорили князевцы.

— Я за вас пятьдесят рублей внес,— говорил я,— и поэтому в этом году сбавки работ вам не будет за выпуск.

Так как богатые в работах за выпуск не участвовали, то их долю задатка я потребовал от них обратно. Как они ни крутили, а пришлось исполнить мое требование. Дело дошло до того даже, что я поставил вопрос ребром: или задатки, или выселяйтесь.

— Подавитесь вы с вашим барином,— объявил Чичков моему приказчику, бросая деньги на стол.

К концу зимы все тридцать тысяч пудов обусловленного с Юшковым хлеба были мною ему доставлены и сложены в бунты на берегу Сока Караван предполагался к отправлению в конце мая. Поручив Юшкову нагрузку, я всецело отдался своим весенним делам. А дела было много.

Весна, как говорили мужики, была не радостная, не дружная. Все холода стояли, снег таял медленно, земля освобождалась постепенно. Днем еще пригревало, а по ночам стояли морозы. Земля трескалась, а с нею рвались нежные корни озимей. С каждым днем озимь все больше и больше пропадала. Мужики качали головой и приписывали это редкому посеву.

— А у соседей?

— Все не так, как у нас,— все почаще. Ошибил ты нас, без хлеба будем.

Пришел и сев ярового. От сильных осенних дождей земля заклекла, и благодаря холодам козлец (сорная трава) высыпал, как сеяный.

— Не надо было пахать с осени,— угрюмо толковали мужики.— Чем козлец теперь выведешь?

— Перепаши,— отвечал я.

— Этак и станем по пяти раз пахать да хлеба не получать, а кормиться чем будем?

— А как я пашу?

— Тебе, можно, тебя сила берет, а нам нельзя. Нет уж, что бог даст, а уж так посеем.

— И будете без хлеба.

— Чего делать? Зато умными станем.

— Глупости все вы говорите. Я и раньше вам говорил, что в десятый год осенняя пашня в прок не пойдет, а на ваше счастье вы как раз на него и наскочили. Что ж делать? Надо поправить дело, пока время не ушло, а не унывать; с уныния радости тоже мало.

Мужики угрюмо слушали и только потряхивали головами. Озимь, что дальше, пропадала все больше и больше. Я решил перепахать озимые поля и засеять их яровым, пшеницей, полбой, гречей, а главным образом — подсолнухами. Мужики глазам не верили, когда увидели, что мои плуга пашут озими.

— Да как же это так? А вдруг господь дождика даст? Они отдохнули бы.

— Нет, не отдохнут, а время упущу.

— Этак станем пахать да пахать, а урожай коли собирать? — насмешливо и озлобленно спрашивали они.

— Глупо, друзья мои. Через неделю и сами станете перепахивать, как и я, с тою разницей, что время упустите, и не будет ни ржи, ни ярового.

— А господь?

— Господь тебе и дал голову, чтобы ты думал. Видишь, толков нет, и не веди время.

— А по-нашему, будто это дело божье.

— Даст господь — будет, а не даст — ты ее хоть насквозь пропаши, ничего не будет.

— А по-моему, господь за труды даст. Любишь ты землю, выхаживаешь ее, как невесту свою, не жалеешь

трудов — даст господь, а ждешь только пользы без труда,— ну, и не будет ничего.

— А по-нашему, за смирение господь посылает.

— Смирение смирением, а работа работой. У вас вон хлеб, а у меня другой, а где ж мне смирением с вами тягаться?

— За доброту твою господь тебе посылает.

— А немцам?

— До времени все он терпит. Придет и немцам свое время, господь всех уравняет.

Почти никто не следовал моему примеру. Спохватились, но уже было поздно. Редкий колосок ржи бился в массе бурьяна.

Яровые были тоже травные, редкие и плохие. Мужики ходили мрачные, злые и угрюмые.

— Ну, пропали!

— Все пойдем Христовым именем кормиться...

— Такого года и старики не запомнят...

— В разор пришли...

— Надо скотину мотать,— ничего не поделаешь.

Всякий торопился облегчить себя ввиду предстоящего голодного года: один продавал лишнюю скотину, большинство уменьшило запашку под озимь почти вдвое, продавали амбары, новые избы,— одним словом, всех охватил табунный ужас и страх за будущее. Напрасно я старался ободрить их,— меня слушали угрюмо и нехотя.

— Что же вы оробели, господа? — говорил я.— Беда еще не пришла, а вы хуже баб взвыли, разоряете себя прежде времени, скотину задаром мотаете, постройки за полцены отдаете, посевы уменьшаете,— как же вы вперед поправляться станете? Будущий год придет, может, бог даст хороший; у людей хлеб будет, а у вас опять ничего. И я же, наконец, у вас,— неужели брошу? Как-нибудь перебьемся.

— Не будет толков,— угрюмо отвечали мужики.

— Вперед-то как знать? Что ж духом падаете? Ведь это грех, старики. В писании говорится, что духом смутившийся дьяволу душу свою предает. Вы же сами, как рассудить, виноваты. Вольно же вам одно делать по-моему, другое по-своему. Ведь вот посмотрите на мои всходы, отроду у вас таких не бывало,— значит, я дело делаю, и надо по-моему делать все.

Мужики с нескрываемою завистью смотрели на мои посевы.

— Тебя сила берет.

— Сила силой, а кроме того, терпение, вера в дело, в людей, а вы и на себя и на людей не надеетесь. И сами ничего не знаете, и людям не верите, закрываетесь богом и думаете, что правы. Пьяным в страстной пяток напиться не грех, а поработать до пота лица всегда найдете отговорку в боге. Беда еще не пришла, а вы уж рады ей, вперед уже спешите облегчить себя от всякой обузы, от всякой тяготы. Двадцать пять лет облегчаете, хуже нищих стали. Рядом вам пример — садковские мужики. Они мотают, как вы, скотину? Они убавляют посевы? Продают дворы?

— Их сила берет.

— Выходит, что всех сила берет, кроме вас. Не сила их берет, а работа. Отбились вы от работы, вот что я вам скажу, господа.

— Грех тебе, сударь. Замаялись мы работой, передышки нет, а ты же коришь.

— Да что толку в этой работе, когда она не во-время да все по-своему — без пути, без ладу? Вы делали бы так, как я вам указываю, как сам делаю, тогда и работа будет и толк будет.

— Непосильно, непосильно... И рада бы душенька в рай, да грехи не пускают. Видно, и вправду старики бают: сам плох — не поможет и бог. Видим мы и сами, что ты для нас все как лучше норовишь, да выходит-то все как хуже. По-старому да по-дедовскому богатеи посеялись — у них хлеб будет, а мы по-новому — Христовым именем пойдем кормиться. Голодный бы год пришел для всех,— туда-сюда, а у людей хоть яровое будет, у нас же, как на смех, ничего,— против всех отличились.

— Сами виноваты.

— То-то и мы баим, потянулись за тобой: куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

— Бабы вы, а не мужики. Вовсе раскисли. Ну, да уж как себе хотите, охота, так и кисните, а деться некуда, на контракт пошли, я буду на контракте стоять.

— Твоя воля,— угрюмо отвечали князевцы.— Пожалуй, хоть и до последнего губи.

— Не погублю. Взялся за вас, так выведу в люди. Кто

слушался меня, тот теперь с хлебом будет. И теперь говорю: кто парить будет столько, сколько и в прошлом году готовил, тому зимой всем помогу. Семян не хватит — семян отпущу, а кто по-своему захочет гнуть, тот, во-первых, и не ходи ко мне, а во-вторых, за землю по контракту все одно взыщу.

— Да коли мы ее сеять не станем?

— А хоть с маслом ее ешьте.

— Вон оно что! — говорили князевцы, потряхивая головами.— Ловко же ты нас прикрутил! В этакой неволе отродясь еще мы не бывали. И Юматов теленок перед тобой.

— Вы Юматовым меня не корите. Для себя неволить вас не стану, а для вашей пользы,— три Юматова со мной не сравнятся, так и запишите.

Я был бы несправедлив к себе, если бы не оговорился в том, что в моей прямолинейности, так сказать, с крестьянами бывали моменты и сомнения.

При всей твердости и непоколебимости, с какими я проводил в жизнь путем экономического давления «их пользу», я не мог не чувствовать, что дело идет далеко не так гладко, как оно представлялось мне в теории. Объяснение этому было, конечно, прежде всего в неблагоприятном стечении климатических условий: как нарочно, например, выдался такой год, из десяти один, когда весенняя пашня в дело не вышла. Но, помимо этих очевидных причин, были какие-то другие, мешавшие делу, которые как-то ускользали из доступного моему пониманию кругозора.

Я старался отрешиться от всякой предвзятой мысли, чтоб выяснить себе, в чем же суть? Почему я на каждом шагу со стороны крестьян встречаю постоянно доходящее до враждебности упорство? То, что я навязываю крестьянину,— это польза? Нет сомнения, и лучшее доказательство тому — мои поля.

Не было сомнения в том, что рано или поздно все вводимое мною так или иначе войдет в жизнь. Может быть, я преждевременно ввожу все это? Действительность и здесь давала красноречивый ответ в пользу своевременности. Не верят они в успех? Но, опять-таки, мои поля налицо. Ссылаются на слабосилие? Но в этом прогрессе залог их будущей силы. Ленивы? Конечно, лень есть, но

их лень мне была ясна: свежая живая рыба на реке и та же вялая, сонная рыба в садке — наглядная параллель, дающая объяснение, почему крестьянин без знания, без земли и без оборотного капитала будет и ленив и беспечен.

Все это было очень ясно, и если я и упрекал крестьян в лени, то только с той целью, чтоб, указав им существующий недостаток, помочь им скорее с ним справиться. Но все эти упреки, не достигая цели, вызывали только все большее и большее раздражение. Я уподоблялся человеку, идущему к толпе с руками, которые переполнены всяким добром, предназначенным для нее, а лица этой толпы уже кривятся и раздражением и злобой.

Не раз я делал попытку выяснить этот вопрос с самими же крестьянами, с теми из них, которые выдавались из толпы своим более широким пониманием явлений жизни, отличались своей способностью обобщать факты. Из таких мое внимание останавливали двое: Фрол Потапов и Юстин Александрович Родин.

Фрол — садковский крестьянин, был лет пятидесяти пяти, с широким мягким лицом, с широкой седой бородой, с умными веселыми голубыми глазами. Несомненно, это был человек недюжинного ума и сметки, доказательством чему служит тот факт, что ни одной сделки общество не делало, не выбрав его в число своих уполномоченных. Такой же сметкой отличался Фрол и в разных коммерческих делах — в купле и продаже скота, в разных мелких крестьянских аферах. В таких делах Фрол непременно сотоварищ, и там, где его нет, там садковец почти всегда получит убыток. Таким образом, ум, знание жизни, опыт были за Потаповым.

Но рядом с этим положительным качеством в Потапове было что-то такое, что лишало его доверия. Это что-то была какая-то неустойчивость.

— Мотоват маненько.

— Мошенник, что ли?

— Зачем? Так, в мыслях мотоват: дело-то смекнуть — смекнет, а глядишь, линию не выведет.

— Неустойчив?

— Действительно, не сустойчив. Сейчас его самого взять вот: умен, всяко дело разобрать может, а себе ничего не припас: так, не лучше последнего мужичонки.

— Так что ж? Это только честь ему делает.

— Не большая и честь, коли нечего есть.

Мои симпатии принадлежали целиком Фролу.

— Скажи, Потапов, отчего ты бедный?

Потапов добродушно-лукаво смотрит мне в глаза.

— Ума не хватило,— говорит он, и веселая улыбка пробегает по его губам.

— Полно: ты своим умом всю деревню за пояс заткнешь.

— Глядите...

— Ну, к вину немножко слабоват, положим, да ведь мало ли богатых, которые пьют.

— Пьют.

— Зло-то зло, да уж не такое...

Потапов весело кивнул головой и проговорил:

— Пьяница проспится, а дурак никогда.

— Так в чем же дело?

— Глядите... Человек ходит, как по воде плывет: и сам себя не видит, и следу нет: со стороны видней. Нет, так и нет, чего ж станешь делать? До седых волос дожил, а ума не нажил.

Точно горькая нотка оборвалась. Он помолчал и добродушно прибавил:

— А все к Фролу, как что — к Фролу... Один пришел— дал совет, супротивный пришел — и ему нет отказа,—и умен, да толку ни тому, ни другому: сердце не камень, обоих ублаготворил — никому ничего не досталось.

— Ох, уж как ты начнешь туману наводить, слушаю тебя, слушаю и ничего не понимаю.

Фрол рассмеялся.

— То-то дураки мы... так дело-то и ведем,— и бога и черта чтоб не забыть, а глядишь, и выходит: ни богу свечка, ни черту кочерга.

— Ну, а скажи мне, почему мои мужики все перечат мне? Как, по-твоему, дело я им советую?

— Коли уж не дело... Известно, дураки... Мужик, что бык, сейчас тащи его за рога: что больше тащи, то больше упрется... Бык он, бык и есть. Ты ему свое, он тебе свое... Так у вас друг с дружкой нелады и идут. Ты хочешь как лучше и им и себе, а они — только бы им ладно.

— Да разве так можно, чтоб одному только хорошо было?

— Когда можно? Ты вот им землю отдай, а сам иди, куда знаешь... Ладно бы... да ведь близок локоть, да не укусишь.

— Да ведь не дадут же землю... не отберут же от нас...

— Известно, кто ж ее даст? Другой, пожалуй, и взял бы, да руки коротки... Не у всех она, лапа-то, загребистая,— купец какой-нибудь загребет тысяч двести десятин и володат, а ты с своей-то короткой лапой что? Только за соху и держаться ею.

— Ну, что ж, по-твоему, добьюсь я с моими мужиками толку?

Потапов усмехнулся.

— Устанешь... собьется дело... По-моему, так.

— Что ж, по-твоему, делать?

— Мне-то тебе что указывать? книга перед тобой,— раздумчиво проговорил он.— Я что? — трава... гляди сам.

Потапов задумался и уставился глазами в землю.

— Я бы тебе сказал басенку, да как бы мое глупое слово пришлось...

— Ну, ну, говори.

— Нашел человек лошадь... нашел и телегу... а упряжи нет. Привязал к хвосту телегу... думал, доеду...

— Ну?

— Не доехал же,— добродушно усмехнулся Потапов... Так, какой-то туман: таращишь в нем глаза до боли, мерещится что-то и опять тонет в какой-то мгле.

Юстин Александрович человек совсем другого склада; это богатый, самодовольный мужик, говорит экивоками, хотя и не тип кулака, торгующего своими капиталами. Он первый жнец, первый косарь. Деньги за работу, как говорят крестьяне, платит «все», но и работу, при своем личном примере, получает тоже «всю».

— Беда мне с моими мужиками,— жалуюсь я.

— Беда, сударь... необразованность...

— Что ж необразованность? Все-таки понимать можно; не мудрость уж такая...

— Какая тут мудрость: дело на виду.

Юстин Александрович помолчал и проговорил:

— Мають они вас...

— Мают-то, пусть мают: толк бы вышел... Ты как думаешь, выйдет толк?

Юстин Александрович усмехнулся.

— Не знаю уж, как и присогласить вас: не чается мне что-то. Народ слаб стал. Действительно, прежнее дело... К примеру, Алексей Иванович.

Эта параллель с крепостничеством неприятно задела меня.

— Алексей Иванович кнутом да розгами вбивал ум,— угрюмо проговорил я,— а я свет несу, я знание предлагаю.

— Известно, к примеру, неволя была, необходимость будто; а сейчас, хоть у вас взять: сугласен — бери, к примеру, там выпуск, альбо землю; нет сугласия -- иди на все четыре стороны... Сейчас богатеям не показалось — скатертью дорога; на свой, дескать, пирог я ртов найду. Оно, конечно, хоть их взять: денежки тебе за землю готовые принесут — их тебе не работой доставать,— их дело это, твое — получай, что следует. Да вот неохота тебе: милости много, жалеешь всякого, и денег тебе не надо... только бы по-твоему дело шло... Оно, конечно, богатый куда захотел, туда и ушел, ну, а уж бедного сила не берет, он уж должен твоей милости кориться: ему свет закрытый,— хочешь не хочешь, а деться некуда. Все одно, что рыба в неводе: пусти — вся разбежится, а невод держит; крупная, хоть и попалась, ей полгоря: только и всего, что сеть прорвала; сила берет, а мелкая вся тут...

И все сравнения, экивоки, какой-то лабиринт мысли.

— Они ведь тоже неспроста,— усмехаясь, самодовольно продолжал Юстин Александрович,— у него, дескать,— про твою милость сказываю,— ни богатых, ни бедных не будет: господь не уравнял — он, вишь, уравнять вздумал.

— Господь не уравнял, да приказал равнять.

— Ну вот, а они свое. Сейчас в миру: справный хозяин,— ему в первую голову и приходится ухо востро держать... Хоть вот подать или ренда: круговая порука, ну, побогаче и опасается, уж он и смотрит в оба... Другой, конечно, коштан, прямо сказать; а другой ведь только себя блюдет. А подлегчи его: голи-то найдено. Порядочному мужику поэтому только уходить. Ушел один, другой,— глядишь, попутние разбежались, а последних грудь, пожалуй... грудь, когда нечего взять с него...

— Да мне и брать не надо...

— Твое-то дело так... Я к примеру... Не надо брать, так, конечно, о душеньке своей что не позаботиться; а

ежели, вот сказать, везде такие порядки, ну прямо сказать — нельзя жить... Тут в пять лет так народ измотается... Беда!..

— В пять лет у меня народ в каменных домах будет жить...

— У тебя-то так, у тебя милости много...

— Не моею милостью, а своим делом станут они на ноги.

— Так-с...— вздохнет, бывало, Юстин Александрович и оборвет разговор, перейдя круто к тому делу, по которому приехал.

Дескать: разговаривать-то с тобой только время вести.

Время было ехать в Рыбинск. Юшков прислал нарочного, что барки благополучно выбрались из Сока и теперь идут по Волге.

На прекрасном волжском пароходе, в лучшую пору (конец мая — начало июня), когда цветет черемуха, когда берега залиты изумрудною зеленью, проехал я в первый раз царственную реку. Пусть по грандиозности она уступает морю; пусть яркостью красок она стушевывается перед югом; но есть в ней такая невыразимая чарующая прелесть, какой ни на каком юге не сыщешь.

Вот наступает вечер. Аромат черемухи, липы наполняет свежеющий воздух. Заходящее солнце скользит по гладкой поверхности реки. Вот уютный хуторок на обрывистом берегу. Прихотливая дорожка, извиваясь, сбегает к реке. На самом обрыве виднеется беседка. Уютно прижавшись где-нибудь на палубе, я чутко прислушиваюсь и к однообразному бою парохода, и к тихому плеску реки, и к резкому вскрикиванию чайки. Рассеянный взгляд скользит по изгибам сверкающей реки, тонет в бесконечной синеющей дали, а в голове блуждают оборванные мысли то о Рыбинске, то о домашних, то о князевцах. На душе спокойно, ясно, тихо, как тих и ясен этот догорающий весенний день. Давно село солнце, потемнело и посинело ясное небо, загорелись одна за другою яркие, крупные, как капли свежей росы, звезды. В воздухе посвежело, пассажиры ушли с палубы, только изредка проходит озабоченный помощник капитана, да слышен окрик матроса, меряющего глубину шестом:

— Пять с половиной!

— Шесть!

И в ответ на это команда в рупор:

— Тихий ход, полный ход!

Замелькают огоньки на берегу, пароход подходит беззвучно к пристани, палуба наполняется народом. Шум, суета, крики носильщиков, матросов. Через четверть часа опять тишина: пароход мчится вперед, энергично разрезывая и на мгновение освещая окружающий мрак, и опять редкий, однообразный окрик передового:

— Шесть!

— Пять с половиной!

Мой компаньон Юшков тоже чувствовал себя хорошо и легко. Он взял на себя заботу по нашему питанию и блестящим образом выполнил ее. Он запасся из дому всякими закусками: пирожками, свежею икрой, и усиленно следил, чтобы я ничего не покупал в буфете.

— Охота и деньги-то вам мотать, да и есть всякую дрянь, когда у нас все домашнее, свежее. Лучше я самоварчик закажу, выпьем по рюмочке, поедим икорки, грибков, балычка, я сливочек на берегу купил, булочек свежих.

Поешь,— кажется, до завтра сыт, а часа через три, смотришь, опять как будто ничего не ел.

— А не закусить ли нам чего-нибудь? — спрашивает Юшков.

И опять: икорка, грибки, балычок.

После еды Юшков подымался, крестился, убирал все и предлагал с полчасика соснуть.

Обыкновенно днем я не сплю, но на пароходе приляжешь — смотришь, и спишь уже. Проснувшись, мы отправлялись на палубу, выбирали уютное место и вступали в беседу по интересовавшим нас вопросам. Юшков рассказывал о разных тонкостях хлебной торговли, о плутнях приказчиков, обвешивании мужиков и прочее...

— А вы сами обвешиваете?

— Никогда.

Юшкову я рассказывал про организацию хлебного дела в Америке, читал ему выдержки из прекрасного сочинения профессора Орбинского, командированного для изучения хлебной торговли в Америку. То, что мы так тяжело перечувствовали на своих плечах, там давно было устранено.

Элеваторы, слово у нас до сих пор для многих синонимичное словам жупел и металл, давно вошли там в плоть и кровь народа. Привоз хлеба из любого пункта Америки в любой пункт Европы стоит тридцать четыре копейки, а у нас до границы чуть ли не вдвое обходится. Среднее удаление сельскохозяйственной фермы от станции сбыта там пятнадцать верст, у нас семьдесят пять. Там уравнительный тариф, дающий возможность перевозить дешевый груз, как хлеб, на громадное пространство, а у нас одна тридцатая с пуда и версты, все равно везешь ли двадцать верст или двести. Там агрономические станции, сельскохозяйственные школы, земледельческие клубы, частные общества земледельцев, на общие средства выписывающие и новые семена и новую породу скота, у нас редкие единичные потуги среди общего отрицательного отношения к делу, отсутствие всякого агрономического образования, даже того, какое было при крепостном праве; вместо хлебной торговли возмутительное кулачество и грабеж.

Незаметно доехали мы и до цели путешествия — Рыбинска. Громадное здание биржи с террасой на Волгу, ее покупщики со всех концов России, порядки — все произвело на меня приятное, ласкающее впечатление.

В полчаса, сидя на террасе и любуясь Волгой, продал я весь свой хлеб.

С покупщиком-купцом из одного дальнего города свел меня биржевой маклер. Телеграммы о ценах были у него и у меня в руках. Проба моего хлеба лежала перед нами на столе. Мы не сходились в гривеннике на четверть. Купец говорил:

— Прошу вас, не настаивайте.

Я говорил:

— Право, не могу.

— Прошу вас,— говорил купец, хлопая меня в сотый раз по руке.

— Право, не могу,— отвечал я, усердно пожимая руку купца.

— Ну, пожалуйста...

— Не могу.

Молчание.

— Так как же?

— Право, не могу.

— Пожалуйста...

И т. д.

Наконец, пришел маклер и разбил грех пополам. Ударили в последний раз по рукам и пошли молиться богу в соседнюю комнату.

Перед громадным образом спасителя купец три раза перекрестился и положил земной поклон. Потом он обратился ко мне и, протягивая руку, проговорил:

— С деньгами вас.

Я ответил:

— Благодарю. А вас с хлебом.

— Благодарю. Что ж, чайку на радостях выпить надо?

Мы отправились в ближайший трактир, куда пришел и маклер, «раздавили» графинчик, закусили свежею икрой и выпили по бесконечному количеству стаканов чаю. Обливаясь десятым потом, выбрались мы, наконец, на свежий воздух.

Через два дня я уже возвращался домой.

Юшков еще остался сдавать гречу.

Возвращался я вполне довольный своим опытом. Хлеб я продал на семнадцать копеек дороже против цены, бывшей в то время в нашем городе. Это составляло двадцать пять процентов.

Купец, приобревший мой хлеб, покупал, конечно, не для себя и тоже, вероятно, постарается заработать процентов двадцать пять. Что было бы, если бы из этих пятидесяти процентов попадало тридцать процентов в карман производителя, читатель? А то, что можно бы было хозяйством заниматься, хлеб сеять, а не разоряться.

VIII. ПОЖАРЫ

Когда я подъезжал к деревне, мечты далеко унесли меня.

Я делаю доклад земству. Земство, проникнутое сознанием необходимости устройства элеваторов, командирует меня в Америку для изучения элеваторного дела. Я — организатор первого элеватора на Соку. Наш элеватор постепенно приобретает доверие покупателей. Я еду в Лондон и вхожу в непосредственные сношения с англичанами. Вместо семидесяти копеек за пуд пшеницы мы получаем рубль пятьдесят копеек. Хозяйство становится совсем в

другие условия, делается выгодным делом. Моя Князевка уже большое село с церковью, сельскохозяйственной школой, с агрономическою станцией. Улешевленная железная дорога идет от села к элеватору. Десятина благодаря разным усовершенствованиям дает четыреста пудов. Князевцы давно собственники. Теперешние взрослые — глубокие старики, их сменили ученики моей жены и мои. Предрассудок уже не мешает им вступать в отчаянную борьбу с окружающей природой, и не грех, как теперь, а искупление за грехи будут испытывать они при такой победе.

— А слыхал, сударь, про несчастье у вас? — спросил ямщик, повертываясь ко мне на козлах.

Сердце упало во мне. Я ненавижу это слово «несчастье»,— оно бросает в жар и холодный пот, поселяет в душе смутный ужас и сжимает грудь предчувствием чего-то тяжелого, страшного.

— Какое несчастье? — спросил я, чувствуя, что кровь отливает от моего лица.

— Мельница с молотилкой сгорела.

Точно камень свалился с души.

— Какое же это несчастье? — спросил я повеселевшим голосом.— Несчастье, когда кто умрет,— не воротишь, а мельница сгорела, так только и всего, что выстрою новую.

— Известно, так. Это наш брат сгорит, беда, а тебе что? Сказал слово — опять будет мельница.

— Отчего же она сгорела?

— Господь ее знает,— многозначительно ответил ямщик.

— Подожгли? — спросил я.

Ямщик молчал.

— Кому же жечь? — проговорил я.

— И мы тоже баим: никому, кажись, не досадил.

— Положим, злой человек всегда найдется.

— Коли не найтись. И то сказать: не солнышко, всякого не обогреешь.

— Кому ж какая в том корысть? — продолжал я выспрашивать.

— Да ведь собака не для корысти, а для боли грызет.

— Будто и зла никому не делаешь...

— Какое зло? Другой одними штрафами как доймет, а ты ведь копейкой никого не штрафовал.

— За что же жечь меня? Жечь, так уж такого, как Се-

менов, от которого никому житья нет,—его не жгут, а меня жгут.

— Поди ж ты,— ответил ямщик.

— А может, просто неосторожность?

— Шутя. Долго ль до греха? Бросил сигарку — и готово. Нынче — ты гляди — от земли не видно, а тоже сосет сигарку-то.

Мужики встретили меня смущенно.

— Здравствуйте, старики,— весело поздоровался я с ними.

— Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, сударь.

— Все ли живы-здоровы?

— Слава богу. Вашей милости как ездилось?

— Ничего, слава богу, хорошо. Денег вам привез. Зимой, как отдавали хлеб, не верили, а с пуда-то больше гривны вам придет!

Князевцы недоверчиво почесывались.

— Вот ты, Исаев, много ли мне зимой продал?

— Да близко к сотне будет.

— Ну, вот красненькую и получишь.

— О?

— Верно.

— Да за что?

— Я же вам объяснял зимой, что себе только за труды возьму, а остальное вам отдам.

— Не за что, быдто: твое счастье.

— Я свое уже получил с вас за землю, остальное ваше,— ваш труд, ваша работа.

— Два раза быдто не приходится,— согласился Исаев.

— Не приходится! — весело ответил я.— На всю деревню больше пятисот рублей достанется.

— О? — пронеслось в толпе.

— Ну, дай бог тебе.

— Пусть и тебе господь так помогает.

— Да спасет тебя царица небесная.

— Барина нам господь какого дал! Сколько жили, такого не видали,— сказал Петр Беляков.— Кажись, на такого барина бы радоваться только.

Петр запнулся.

— А его сожгли,— хотел сказать я веселым голосом, но голос помимо меня дрогнул.

Толпа потупилась.

— Сожгли ли? — спросил я.— Разве я заслужил перед вами, чтобы меня жечь?

— Где заслужил! — горячо сказал Петр.— То ись, умереть — такого барина не нажить.

— Народ плох стал,— сказал Елесин.— Правды вовсе нет. Ты ему добро, а он норовит по-иному. Не сообразиться с ними. Неловко, чего и говорить. За твою добродетель в ножки бы тебе кланяться.

— Так вы думаете, что сожгли?

— Сумнительно,— заметил Елесин потупившись.

— Э, пустое! — сказал Исаев повеселевшим голосом.— Ну, кому жечь-то? за что? Знамо, ночью схватило,— ну и думается. А по-мне, просто печники, что кирпичи делали и спали поблизости, как-нибудь сигарку уронили в солому.

— Оно, положим, что с вечера они маненько выпивши были.

— Эх, и напугались же мы,— сказал Керов.— Так и думали, что все сгорим. Ветер-то прямо на деревню — искры так и сыпет. Повыскакали, как были, из изб, глядим, а от страха и не знаем, чего делать,— к тебе ли бежать, свою ли животину спасать.

— К тебе побегли все до единого,— сказал староста,— всю ночь промаялись. .

— Откуда же загорелось?

— От соломы пошло, от кирпичного завода.

— Лифан Иванович, по-твоему, какая причина? — спросил я.

— Надо быть, от кирпичников грех: выпивши с вечера-то были.

— А они что говорят?

— Знамо, что — отпираются.

Позвал я кирпичников. Путаются, ничего не добьешься.

— Да говорите толком,— искать не стану.

— Господь его знает, может, и от нас грех.

— Так бы давно,— облегченно заговорила толпа.— Развязали грех — и ладно. А то и нам неловко и барину быдто сумнительно.

— Мне-то, положим, не сомнительно,— ответил я,— я ни минуты не погрешил, чтобы подумать на кого-нибудь. Просто несчастный случай — и конец. Ступайте с богом и не сомневайтесь.

Все ж таки какое-то неясное, неприятное чувство

осталось в душе. Мы с женой порешили, что был несчастный случай: всякому я рот зажимал с первых же слов, говоря, что это несчастный случай, а все-таки на душе было неприятно.

Сгорело тысяч на десять.

Я ничего не страховал. Происходило это главным образом по беспечности русской натуры: «авось не сгорит». Но после пожара мельницы я уже не мог заставить себя что-нибудь застраховать по другой причине: мне казалось, что, застрахуйся я теперь, я показал бы этим и себе и окружающим недоверие к моим мужикам. Конечно, это было высоко непрактично с моей стороны, но побороть этого я не мог в себе. Во всех отношениях к крестьянам я стремился к тому, чтобы вызвать с их стороны доверие к себе, а для этого и сам старался показывать им полное доверие. Страховка же, по моему мнению, шла бы вразрез со всем моим образом действий.

На замечание одного князевца, зачем я не застрахуюсь, я ответил:

— И не думаю. Стану я вас перед чужими деревнями срамить! Что бы сказали: «Князевский барин от своих страхуется!»

— Свои-то не сожгут. Странние...

— Ну, а странние-то и подавно не сожгут,— отвечал я.

Мало-помалу все пошло своим чередом.

Крестьяне, получив прибавку за проданный зимою хлеб, повеселели и довольно охотно вспахали пар без предполагавшихся урезок. Пришла уборка, наступила молотьба. У крестьян был плохой урожай. У меня благодаря перепаханной земле хлеб был выдающийся. Немцы — и те удивились. Пришлось строить новые амбары, так как старых не хватало.

— Эх, и хлеб же господь тебе задал нынче! Как только совершит,— говорили крестьяне.

— Да уж совершил,— почти в амбаре весь,— отвечал я.

Подсолнухи уродили до двухсот пудов на десятину.

Я насеял их слишком сто десятин. Средняя рыночная цена за пуд была один рубль тридцать копеек.

Пришлось для них выстроить громадный новый сарай и, за неимением другого материала, покрыть соломой. Чтобы было красивее, я покрыл его по малороссийскому

способу. Каждый день, просыпаясь, я любовался в окно на мою красивую клуню, напоминавшую мне мою далекую родину. Наконец, и последний воз подсолнухов был ссыпан. Всего вышло восемнадцать тысяч пудов.

Был день крестин моего сына и девятый день родов жены. По этому поводу мы устроили вечер, на который, кроме знакомых уже читателю соседей, приехал из города руководивший моим делом по наследству присяжный поверенный с женой. Вечер прошел очень оживленно.

Дело подходило к ужину. В столовой стучали тарелками. У Синицына с присяжным поверенным завязался оживленный спор. Синицын доказывал, что Константинополь России необходим. Присяжный поверенный слушал и вместо ответов смеялся тихим, беззвучным смехом.

Синицын кипятился:

— Если, кроме смеха, у вас нет других аргументов для доказательства, что Константинополь не нужен, то, согласитесь, это еще не много!

— Да тут и доказывать нечего,— к чему он нам?

— Да хоть бы...— начал Синицын.

— Для виду,— поддержала его жена присяжного поверенного.

— Да хоть бы для того,— продолжал Синицын, пропуская шпильку,— чтобы прекратить возможность наносить нам постоянный вред вмешательством в дела Балканского полуострова.

— Полноте, какой там вред и кто мешается?..

— Но позвольте, вы не хотите признавать фактов. В настоящее время положение таково, что любой заграничный листок одним намеком на восточный вопрос может колебать нашу биржу. Кому надо, тот и играет на этой слабой нашей струнке.

— Вот, вот, вот! Вольно же вам создавать себе слабую струнку! Откажитесь от нее — никто и не будет играть. Ясно, кажется.

— Но ведь так и от отца с матерью отказаться придется.

— Зачем же такая крайность?

— Константинополь,— упрямо стоял на своем Синицын,— нам необходим: иметь Черное море отпертым — это значит иметь двор без ворот. Константинополь — это ворота в Черное море, которое, в силу географического по-

ложения, нам необходимо, а раз оно необходимо, необходимы и ворота. Это сознаем и мы, русские, и вся Европа. Упрекать нас за это в жадности нет основания, как нельзя человека с большим ростом упрекать за то, что он не может улечься в детской кровати. В материальном отношении невозможность обладать Константинополем стоила и будет стоить нам страшных жертв,— сверх тех вековых, кровью и деньгами, какие русский народ уже принес для достижения своей цели. Да и в нравственном, наконец, отношении мы не можем же отказаться от заветной цели наших предков, не можем под страхом быть заклейменными нашими потомками именем жалких и недостойных трусов.

Присяжный поверенный откинулся на спинку кресла и долго беззвучно хохотал.

— Сорок лет тому назад,— сказал Синицын,— всякий русский так думал, а теперь это смешно.

— Сорок лет тому назад это было понятно, а теперь это смешно,— ответил присяжный поверенный.

— Русскими перестали быть, европейцами сделались? — язвительно спросил Синицын.— А по-моему, лет через пятнадцать все опять так и станут думать, как думали сорок лет назад.

— Вы хотите сказать, что общество подвергнется ретроградному развитию на манер некоторых инфузорий? Что ж, это бывает,— ответил присяжный поверенный.

— Ужинать подано.

За ужином продолжался разговор на ту же тему. Чеботаев говорил, что Константинополь нужен, но настоящее время таково, что сознание этой необходимости надо спрятать подальше.

— У нас нет ни средств, ни сил для достижения этой цели. Последняя война нам ясно показала, куда мы годимся. Да и политическое положение в Европе не таково, чтобы лезть в какие бы то ни было предприятия.

Синицын стоял на том, чтобы сейчас брать Константинополь.

— Никогда войны не разоряли. Вы вашею свободною торговлей разорили Россию в двадцать лет больше, чем все войны от Петра до последней кампании вместе взятые.

Леруа помирил всех.

— Господа,— начал он заикаясь,— все это ерунда. По-

зовут — будем драться, а пока не позвали, выпьем за здоровье хозяйки, хозяина и наследника. Ура!

Я поднялся было, чтобы отвечать тостом за гостей, как вдруг зловещее зарево осветило окна. Точно по волшебному мановению ночь превратилась в день, и из мрака рельефно выдвинулись, залитые кровавым светом, двор с его постройками, сад, деревня, пруд, мельница. Мой амбар с подсолнухами ярко пылал. Громадный столб пламени с страшной силой поднимался сначала вверх, затем, под напором ветра, загибался по направлению к усадьбе, осыпая дом, сад, постройки мириадами искр.

Я бросился к жене.

— За что это? — тихо спросила она, сделавшись белее полотна.

— Бог им судья...

Что-то сжимало мне горло.

Гости засуетились и бросились во двор.

— Надя, дорогая,— говорил я жене, стучавшей, как в лихорадке, зубами.— Успокойся ради бога. В денежном отношении это двадцать пять тысяч, да хоть бы и больше, хоть бы и все состояние, что это для нас? Разве наше счастье деньги? Лишь бы ты да детки были здоровы, да правда была бы с нами, а там пусть все гибнет. Не правда ли?

— Правда, правда,— отвечала жена, едва шевеля губами от лихорадки.

— Ради бога, успокойся, помни — ты всего девять дней после родов.

— Я совершенно спокойна. Иди скорей к амбару. Все уже пошли.

— Не пойду, пока ты не улыбнешься мне, пока ясно не скажешь, что ты спокойна.

Жена улыбнулась и горячо меня поцеловала.

— Теперь я пойду,— сказал я почти весело.

Жена Чеботаева подбежала ко мне.

— Где ваши ключи? Где деньги?

— Милая Александра Павловна,— ответил я, беря ее за обе руки,— ради бога, не беспокойтесь. Никакой непосредственной опасности нет. Главное — за Надей смотрите.

Первою заботой моей было распорядиться расставить по крышам людей и тушить падающие искры. К амбару я сперва и не пошел, во-первых, за полною бесполез-

ностью, а во-вторых, чувствуя какую-то неловкость. И только обеспечив усадьбу, я, наконец, отправился к месту пожара. Сарай догорал. От подсолнухов, горящих очень быстро, остались одни обугленные кучи.

Помню, как сквозь сон, кучку гостей, о чем-то толковавших и при моем появлении смолкнувших и с каким-то сожалением осматривавших меня; помню эту толпу мужиков, спокойно стоявших, но вдруг, завидев меня, бесполезно засуетившихся; помню Ивана Васильевича, что-то растерянно раскидывавшего лопатой и всхлипывавшего, как баба. Ему вторило несколько голосов из толпы. Я сознавал, что глаза всех гостей устремлены на меня. Под этим общим взглядом я ощущал какую-то неловкость. И старался принять спокойный вид и, помню, очень пошло сострил насчет фейерверка. Никто на мою остроту не отозвался, неловкость усилилась, я стоял поодаль от всех один. В глазах этих людей я был в положении человека, нежданно-негаданно получившего пощечину. Справедливо или несправедливо дана она — один бог знает. Самый лучший друг, и тот в такие минуты невольно усомнится и будет начеку, а от этих чужих в сущности, никогда не сочувствовавших моему делу людей ничего другого и ждать нельзя было. Все это я понимал, но тем не менее это безучастное равнодушие раздражало меня. В своих собственных глазах я похож был на человека, который пришел для решения известного вопроса, подготовив все данные решить его в известном смысле, и вдруг увидел, что вопрос уже решен совершенно не так, как он желал этого, никаких данных не требуется, и на всю работу поставлен несправедливо крест. Гадко и пошло было на душе.

— Да не войте, черт вас побери! — закричал я на Ивана Васильевича.

Всхлипывания прекратились, и Иван Васильевич уже спокойным, равнодушным голосом стал ругать какого-то мужика. Я избегал смотреть на толпу. В первый раз закипало в душе против крестьян недоброе чувство. Я уговорил гостей идти в комнаты и продолжать ужинать.

За ужином из деликатности говорили, что пожар произошел от неосторожности, говорили о невозможных условиях хозяйства, и, уезжая, каждый, пожимая мою руку, от души советовал ехать служить. Когда уехали гости, я позвал Сидора Фомича.

— Скажи, Сидор Фомич, поджог это?

— Ох, и не знаю, как сказать! И погрешить боюсь и... Народ нынче ненадежный,— правды вовсе нет.

— Ну, кто же?

— Уж если грешить, не кто, как богатеи...

— Да ведь они уж целую неделю как уехали.

(Они занимались обратною перевозкою своего имущества из тех мест, куда хотели переселиться.)

— И то...— недоумевая, согласился Сидор Фомич.

На другой день проснулся я под страшно давящим чувством тоски. В окна видна была вся картина вчерашнего пожара.

Я вышел. Почти вся деревня толпилась тут.

— Отчего загорелось? — спросил я угрюмо.

— Господь его знает,— потупившись, ответили некоторые.

— Поджог?

Мужики молчали. Я смотрел на них, и невольное чувство злости и ненависти охватывало меня. Сознание этого нового чувства было невыносимо тяжело. Я всматривался в их лица и с тоской вспоминал то недавнее прошлое, когда глаза их открыто и приветливо смотрели прямо на меня. Теперь они смотрят в землю. Чувствовалось, что все то общее, что нас связывало, рвется, как гнилая веревка.

Федор Елесин поднял на меня свои строгие, но чистые и светлые глаза.

— Неповинны мы, сударь, в твоем горе. Господь посылает — любя или наказуя,— не нашему грешному уму разобрать это дело. Его святая воля, а только мы неповинны.

— Видит бог, неповинны,— горячо подхватил Петр Беляков.

Два чувства к крестьянам боролись во мне,— новое, вчера только зародившееся, и старое, то, с которым я приехал сюда и с которым сжился после четырехлетней поверки. И, конечно, последнее победило. Что-то точно поднималось в моей груди все выше и выше и вдруг будто прорвалось через какую-то плотину. Все злое вдруг отхлынуло, и страстная, горячая тоска по прежнем чувстве к крестьянам охватила меня. Я захотел опять верить, любить и жить тем, с чем сроднилась уже моя душа, что я считал целью всей своей жизни.

— Правду вы говорите? — спросил я дрогнувшим голосом.

Толпа подняла на меня глаза, и, прежде чем я услышал ответ, я уже знал его и верил ему; то, что за минуту представлялось гнилым канатом, показалось теперь мне сталью, иначе так не могли бы светиться сотни глаз сразу.

Посыпались горячие, искренние уверения толпы. Приводились неотразимые доводы: амбар был всего саженях в пятидесяти от деревни; хотя тянуло на дом, но искры неслись и на село, никто из своих, конечно, не мог подвергнуть свою же деревню риску сгореть.

С другой стороны, много было вероятий поджога. Большинство останавливалось на мысли, что поджег кто-нибудь из посторонних. Я терялся в догадках.

Прошла неделя. Жена очень плохо поправлялась. Мы решили на время уехать куда-нибудь на юг для поправки. Дела хоть и пошатнулись, но оставалось еще тысяч двадцать пудов хлеба в трех амбарах, стоявших саженях в двухстах от усадьбы. Я объявил наемку подвод для отправки хлеба в город с завтрашнего дня.

С вечера мы весело толковали о предстоящей поездке.

— Хорошо иметь чистую совесть,— ее не сожжешь,— были последние слова жены, с которыми она заснула.

Только мы заснули, меня осторожно будят. Приученная прислуга уже не бросалась, как при пожаре мельницы, с отчаянным криком: «пожар», но осторожно толкала меня, тихо говоря:

— Сударь, амбары горят.

Первым делом я бросился, конечно, к жене. Она уже проснулась и на вид была совершенно спокойна. Мы подошли к окну. Знакомая картина, с тою разницей, что все было бело кругом от первого выпавшего с вечера снега.

Далеко-далеко рельефно выделялись горящие амбары, а вокруг них точно прыгали и плясали люди. Толпа все росла и росла. По дороге из села вереницей бежали крестьяне: кто с топором, кто с лопатой, а кто и просто без ничего, размахивая на бегу руками.

Горничная рассказывала, что нашли следы поджога — жердь с намотанною паклей, воткнутою в крышу...

Я постоял и лег снова на кровать. Унижение, тоска давили грудь. Я хотел в эту минуту перенестись куда-нибудь далеко-далеко от этих злых и холодных людей, поближе

к тем, которые греют и любят, пережить, как мальчиком, те минуты, когда, оскорбленный грубо и незаслуженно новыми товарищами на первых порах учения, изливал я матери свои накипевшие детские страдания и вдруг, чувствуя, что понят, не выдерживал и горько рыдал на ее груди. А она тихо и ласково гладила мою всклоченную голову и говорила, говорила... Слезы высыхали. Весь еще взволнованный и встревоженный, я прижимался еще ближе к ней; глаза пристально впивались в какую-нибудь точку, я жадно слушал, а сладкое чувство удовлетворения, утешения, любви и прощения уже закрадывалось в грудь. И я уже мечтал, как добром отомщу врагам за сделанное зло.

— Зачем падать духом? — тихо проговорила жена, наклоняясь ко мне. Ее рука ласково и нежно гладила мои волосы.

Я не выдержал и разрыдался, как ребенок.

— Мне не жаль, пусть все бы пропало, но тяжело, что люди так злы. За что?

Слезы облегчили и успокоили. Я оделся и поспешил к пожару.

Я приучил уже народ к тому, чтобы воем и криком не выражали мне сочувствия, поэтому при моем появлении все спокойно продолжали свою работу. Я стоял поодаль и смотрел. На душе было пусто, как после похорон.

Я пошел ближе к пожару. Толпа силилась отстоять два остальные амбара. Несмотря на то, что крыша на одном из них уже загорелась, толпа с Иваном Васильевичем во главе смело лезла в самый огонь. Лицо и бакенбарды Ивана Васильевича обгорели, он был мокрый, как вытащенная из воды курица, но, несмотря на все, он лез в самое пламя, неистово крича:

— Воды! Лей на голову!

Надежда спасти что-нибудь разбудила и мою энергию. Я потянулся за толпой, взобрался на горевшую крышу и энергично стал помогать Ивану Васильевичу. Народ точно потерял страх к огню и способность обжигаться. Голыми руками хватали горящую солому и сбрасывали ее вниз, рвали лубки и рубили стропила. Так как хлеб был насыпан до самого верха, то ходили по нем, как по полу. Чуть не вся деревня столпилась на пространстве нескольких квадратных сажен.

Через час оба амбара были вне опасности. Я, совер-

шенно мокрый, пошел домой переодеться. Примиренный в душе с крестьянами, видя их содействие, я успокаивал жену, делал предположения, что это дело чьих-нибудь одних рук. Не успел я выпить стакан чаю, как горничная вбежала с известием, что амбары опять загорелись и на этот раз снизу.

Я бросился к пожару. Рядом со мной бежал мой кучер.

— Солому, сударь, подбили под амбары, должно быть, как с крыши сбрасывали,— она загорелась. Теперь не потушить.

— Да ведь я Пиманову поручил следить, чтобы солома как-нибудь не попала, двадцать человек около него было помощников.

— Должно, не доглядели, зазевались на верх.

Старик караульщик, завидев меня, бросился с воплем навстречу.

— Батюшка, сударь, не виноват!

Его испуганный, показавшийся мне фальшивым, крик, как ножом, резнул меня по сердцу.

— Четвертый раз, подлец! — закричал я, со всего размаху ударив его по лицу.

Караульщик упал.

— Кто подбросил под амбар солому?

— Не виноват, батюшка, не виноват! — кричал караульщик.— Божье наказание, нет моего греха!

— Врешь, подлец, говори правду! От меня никуда не уйдешь! Говори правду: кто подбросил?

— Никого не видал, никого. Видит бог, никого. Лопни мои глазыньки...

— Хорошо, голубчик, найдем на тебя расправу.

Караульщик вытирал кровь, выступавшую из носа.

— Как ты меня расшибил,— говорил он спокойным голосом, как будто не его били.— Вовсе задаром. Нешто против бога я волен? Неужели грех такой приму на душу?

Я ушел от него.

Спасения не было, амбары горели снизу, куда забраться было немыслимо. Хлеб, конечно, не мог сгореть, как материал, почти не горящий, но, пропитавшись гарью, делался никуда негодным, даже свиньи такой хлеб не ели. Толпа в моих глазах держала себя так, как пойманная: она апатично и лениво делала свое дело.

Иван Васильевич шепнул, проходя мимо меня:

— Не троньте их, как бы греха не случилось.

Я только теперь сознал опасность своего положения. Один со своей семьей, ночью, вдали от всякой помощи, среди этих людей, пошедших, очевидно, напролом...

«Так вот чем кончилось мое дело!» — мелькнуло у меня в голове.

Тяжелое, невыносимое чувство охватило меня,— это был не страх, а скорее какая-то смертельная тоска, какую никакими словами не передашь. Эти добрые, простые с виду люди оказались просто гнусными, недостойными негодяями, тупо и бессмысленно разбивающими свое собственное благо. Вести дальше дело нельзя было уже по тому одному, что не было больше средств. Цепь этих пожаров, очевидно, состояла в том, чтобы привести меня к этому положению. Цель блистательно достигнута. Завтра, послезавтра я должен буду удалиться, уступив место моим торжествующим противникам. С тупым злорадством проводят они меня, торжествуя свою победу,— победу, состоящую в том, чтобы снова отдать себя в кабалу какому-нибудь негодяю. А Леруа скажет: «Дурак, ограниченный человек!» Чеботаев снисходительно назовет «увлекающимся идеалистом с детским взглядом на жизнь». Белов скажет: «Я говорил, что с нашим народом нельзя иметь дела». Они будут правы, потому что они остаются, а я должен уйти. Должен!

Ножом резнуло это слово. В первый раз я понял силу, безвыходность, неумолимость этого слова. Раньше были положения, когда я добровольно и гордо, не ощущая безвыходности, делал тот или другой выбор. Я не ужился с аферистами и, ни секунды не задумываясь, бросил их; мне предложили в действующей армии принять землю вместо щебня; я в тот же день уже сидел на пароходе и, как больной, эвакуировался в Россию,— везде был добровольный выбор. Здесь его не было. То, что я полюбил, как свою жизнь, я должен был бросить, и никакого другого выхода не было.

Негодяи знали, что делали, и делали безжалостно. Что им до меня, до моей семьи, до моего горя, до моих целей,— лишь бы им на пять минут показалось, что так лучше, что и этого проучили так же, как князя, Юматовых, Николая Белякова...

Понятно, что все эти мысли вызвали во мне озлоб-

ление и страстное желание отомстить — поймать поджигателей. Первый раз я испытывал это сладкое чувство — возможность мстить.

«Прежде всего и самое главное — спокойствие,— говорил я сам себе, ходя взад и вперед возле амбаров.— Теперь ночь. Если я выдам свои намерения отыскать поджигателей, это будет последнею искрой в порохе. Надо, чтоб они не догадались об этом». И почти со спокойным лицом я подошел к толпе.

— Вот жердь, вот кудель намотанная, которую я успел, прибежавши, потушить,— говорил Сидор Фомич.— На снегу следы были от сапог с подковами, только народ притоптал...

— Ну, что ты мне суешь жердь? — сказал я равнодушным и пренебрежительным тоном,— точно по этому я что-нибудь найду! Вот чего стоит твоя жердь! — сказал я, бросая ее далеко в поле.

Толпа удивленно смотрела на меня.

— Да хоть бы и нашел я поджигателя,— что мне, легче бы стало? Воротит он, что ли, что сжег? Вот если б я тут на месте накрыл его...

Я задохнулся от охватившего меня чувства.

Толпа заволновалась.

— Да, если бы собаку тут захватить, ужели же пожалели бы?

— Да прямо его в огонь бы.

— А теперь, знамо, где его сыщешь? Ни руки, ни ноги он своей не оставил...

— Грешить только станешь...

— Дело божье, видно, покориться надо.

— Надо покориться, сударь,— говорил Федор Елесин,— от пожару никто еще не разорился, а виноватого господь сыщет.

— Сыщет,— уверенно подхватила толпа.— Человек не найдет, а бог найдет.

Начались рассказы каждого, как его жгли, как он оставлял все на волю божию; как сжегшего в конце концов постигала кара божия, а они-де, рассказчики, и посейчас лучше прежнего живут.

— Покориться надо.

Я с отвращением слушал это, как мне казалось, наглое издевательство надо мной,— жгут, негодяи, без пере-

дышки, как кабана какого-то, и предлагают еще покориться. Кому? Мерзавцам, постановившим какое-то нелепое решение и преподносящим его мне, как решение бога!

Народ успокоился, повеселел, а я нетерпеливо ждал рассвета. Наконец, стало совсем светло.

Наехала масса народу из соседних деревень.

Мой план был готов.

— Довольно тушить! — крикнул я повелительным тоном.

Толпа озадаченно остановилась и посмотрела на меня.

— Никто не двигайся с места!.. Садковский староста, возьми шесть понятых. Готово? Вот в чем дело. Меня сегодня ночью два раза сожгли; есть следы поджога — следы ног, кудель и жердь. Сидор Фомич, принеси жердь, вот она лежит. На ней намотана кудель. Следы были, но их затоптали, тем не менее они должны сохраниться где-нибудь подальше, в нетронутом месте. Стойте все смирно, я один пойду.

Отойдя саженей на двадцать, я пошел по окружности вокруг забора. Ясный, отчетливый след в деревню остановил мое внимание.

— Сидор Фомич! Такой след ты видел у амбара, когда прибежал?

Сидор Фомич подошел, осмотрел след и сказал:

— Боюсь погрешить, а как будто тот самый. Лифан Иванович, Федор видали тоже.

— Позовите и их,— приказал я.

— Надо быть, тот самый... он самый... с подковкой.

— Так и есть, вот подковка,— сказал Сидор Фомич, рассматривая след за несколько шагов дальше.

В сапогах с подковкой ходили только молодые парни. Я приказал принести все сапоги, бывшие в деревне, перечисляя имена тех парней, которые приходили мне в голову. Уже посланные пошли исполнять мое поручение, а я в раздумье стоял и припоминал, не забыл ли я кого из парней.

«Поймать, поймать, во что бы то ни стало поймать! — стучало мое сердце раз сто, если не больше, в минуту.— Не дать негодяю уйти от заслуженной кары, не дать ему торжествовать гнусную победу!» И мне представлялся торжествующий негодяй, собиравшийся сегодня весело праздновать свой храмовой праздник (это было 1 ноября, день Кузьмы и Демьяна — храмовой праздник моей де-

ревни). Я представлял его сидящим в кругу родных и приятелей за столом, весело подмигивающим в сторону усадьбы и злорадно улыбающимся.

Я поднял глаза и замер... Тот взгляд, который только что рисовался в моем воображении, я увидел в молодом Чичкове, злорадно и пытливо смотревшем на меня. Встретившись глазами со мной, он быстро опустил их и принялся работать лопатой... Я впился в него. Чичков еще раз вскинулся на меня и еще растеряннее и быстрее начал работать. Все стояли без движения, один он усердно бросал негодное зерно на хорошее, то есть делал совершенно бессмысленную работу. Страннее всего то, что я забыл назвать его в числе тех, которых сапоги я велел принести. Теперь я заметил, что Чичков был одет с иголочки: на нем были чистенькие лапти, чистый полушубок; в противоположность всем, его лицо было чистое, умытое, волосы смазаны маслом. Не спуская глаз, я подходил все ближе и ближе к нему. Он понимал и видел боковым взглядом, куда я иду, но усиленно не замечал меня.

— И Чичкова сапоги,— сказал я.

— Зачем мои сапоги? — спросил Чичков, побледнев и подымая на меня глаза.

— Потому что ты сжег, подлец,— закричал я, не помня себя.

В глазах Чичкова рябнуло.

— Богатые не жгут.

Как молнией осветило мне все.

— Ага! И оговорка готова,— сказал я.— А вот посмотрим.

— Я с Дмитриева дня не надевал сапог.

Дмитриев день — храмовой праздник одного соседнего села — был пять дней тому назад.

— Скажи еще что-нибудь,— сказал я.

— Нечего мне говорить больше,— сказал он, совершенно оправившись.

И, бросив пренебрежительно лопату, он сделал движение уйти.

— Стой! — закричал я громовым голосом.— Ни с места, или я тебя на месте уложу.

Чичков остался.

Принесли пар тридцать сапог. Довольно было одного взгляда, чтобы понять все. В то время как все сапоги

были серы, с кусками высохшей на них грязи, одна пара выделялась из всех своим черным цветом.

— Чьи сапоги? — спросил я, беря их в руки.

— Чичкова,— ответил староста.

— Понятые,— обратился я к ним,— посмотрите — сапоги мокрые, он говорит, что надевал их на Дмитриев день последний раз.

— У нас теленок под лавкой, он и намочил сапоги,— отвечал Чичков.

— Хорошо, и твоего теленка посмотрим.

Стали примеривать сапоги к следу. Чичкова пришлись точка в точку. Шаг за шагом добрались мы до места, где след, выходя на большую дорогу, пропадал в массе других. Мы направились к избе Чичкова. От дороги к избе показался опять тот же след, но двойной — от калитки к дороге и обратно.

— Туда, значит, шел большою дорогой,— пояснил Сидор Фомич,— а назад прямиком пошел.

У самых ворот Чичков быстро пошел в избу.

— За ним, старики,— крикнул я,— он идет поливать под лавкой!

Я и другие побежали за ним. Мы вошли во-время: Чичков с ковшом в руках стоял возле лавки, сбираясь плеснуть.

— После, после плеснешь,— остановил я его за руку.

— Что такое? В чем дело? — подошел ко мне старик Чичков с невинною физиономией, точно ничего не знал.

— Вон, мерзавец! — закричал я.— Морочь других. Скоро, голубчик, сведем с тобой счет... Ну, теперь со следом покончено, остается жердь и пакля.

Сидор Фомич прокашлялся и выступил.

— Жердь, сударь, не с крыши, а с хлебника. Если бы она была с крыши, один бок ее был бы прогнивший, соломка к ней пристала бы, а она сухая и ровная. Не иначе, как с хлебника, а паклю надо сличить (в каждом доме своя пакля, что зависит от силы, с какою выбивают: сильный бьет — кострига мелкая, слабый — кострига крупная).

Потребовали паклю у Чичковых, сличили, и все признали ее однородною с тою, которая была намотана на жердь. Оставалось отыскать место, откуда была взята жердь. По указанию Сидора Фомича, отправились на хлебник Чичкова. В том месте, где с большой дороги сво-

рачивала тропинка к хлебнику, снова обозначались следы, какие были около амбаров. Посреди хлебника стоял омет соломы, придавленный рядом жердей, попарно связанных. Одна только жердь не имела с другой стороны подруги, и мочальная веревочка, служившая для привязки другой жерди, как флажок, болталась на верхушке. На омете сохранился свежий след другой, взятой жерди.

Присутствующие стояли, пораженные неотразимостью доказательств. У молодого Чичкова, до сих пор бодрившегося, обнаружился полный упадок духа. Его худое лицо как-то сразу осунулось и почернело. Черные маленькие глаза перестали бегать по сторонам, безжизненно и бесцельно смотрели вперед.

— Что, Ваня,— ласково обратился к нему староста,— видно, греха нечего таить, признаваться надо?

Чичков нерешительно молчал. Мужики пристали к нему:

— Не томи, родимый, развяжи грех. Некуда, видишь сам, деваться...

После долгого молчания Чичков заговорил:

— Неповинен я, видит бог, что неповинен. Вижу сам, что пропадать приходится; здесь пропаду, там зато спасусь...

— Врешь,— оборвал я его.— Там не спасешься. Здесь еще надуешь дураков, а бога-то уж не обманешь. Здесь тело погубишь, а там и душу.

— Чистая моя душенька,— вскинул на меня глазами Чичков.— Будет она в раю, и неугасимая свеча будет гореть перед ней.

На мгновение я смутился от его твердых, убежденных слов, но, вспомнив, что эта излишняя вера и чуткость и погубили все дело, ответил:

— Хорошо. Дело твоей совести — запираться или нет, надувай других, а меня не надуешь. Чтобы пресечь возможность тебе сговориться с родными и заодно отвечать с ними, я тебя сейчас арестую. Отправляйся на барский двор и во флигеле жди следователя.

— Не пойду,— ответил мрачно Чичков.— Вы не смеете без власти меня сажать под надзор.

— Если я говорю, так смею. Не пойдешь волей, силой поведу, силой не дашься — на месте уложу.

— Иди, Ваня,— сказал старик Чичков.— Господь оправдает нас.

Ивана Чичкова увели во флигель, посадили в отдельную комнату и приставили двух караульщиков. Я послал два заявления: одно — становому, другое следователю.

До стана было верст пятнадцать, к следователю двадцать.

Старик Чичков делал отчаянные попытки пробраться к заключенному, но я принял надлежащие меры. Являлся он ко мне, пробовал и в ногах валяться и к угрозам прибегнуть,— я его вытолкал.

К вечеру приехал урядник с известием, что становой поставил банки и сам не может приехать. Нарочный от следователя привез ответ, что следователь будет через три дня. Возмущенный, я сейчас же послал нарочного к прокурору с заявлением, что, ввиду оттепели, следы могут растаять, вследствие чего прошу оказать давление на следователя. С урядником же мы немедленно приступили к производству предварительного дознания. Следствие тянулось целую ночь. Я обнаружил недурные способности следователя и привел к противоречию всех свидетелей. К сожалению, урядник был малограмотен и в конце концов почти не записал ничего.

На деревне не спали, и все были пьяны. Часа в два ночи в комнату, где производилось следствие, вбежал перепуганный Иван Васильевич и, вызвав меня и урядника в другую комнату, взволнованно сообщил, что только что приходил староста предупредить, что на деревне неспокойно, требуют выпуска на свободу Чичкова и грозят, в случае неисполнения их требования, сжечь усадьбу и убить меня, жену, детей и всех, кто будет стоять за нас. Закончил он просьбой дать ему отставку.

— Я вам верой и правдой служил, пока можно было. У меня у самого жена и дети...

— Дрова, свечи, сам скотина,— перебил я его вспыхнув.— Убирайтесь к черту сию секунду, куда хотите, гнусный трус! Еще солдатом называется, на войне бывал, а струсил и растерялся до того, что от страху не знает сам, что говорит... Ступайте, отдайте распоряжение, чтобы не тушили, если загорится,— пусть к черту горит, чтоб никого не подпускали к тому месту, откуда начнется, пока я не приду и не осмотрю следов; никуда не денется, по воздуху не полетит, а по следам мы уже одного голубчика привели и других приведем, так и передайте.

Следствие продолжалось. Последние свидетели явились уже порядочно пьяными, так что добиться от них толку было мудрено, да и все следствие, как не записанное, представляло мало интереса.

На урядника слова Ивана Васильевича произвели сильное впечатление.

— Ввиду исключительного положения дела,— обратился он ко мне в присутствии всех свидетелей и подсудимого,— ввиду возбуждения я полагал бы следствие на сегодня прекратить и преступника выпустить.

— Вы с ума сошли! — закричал я, вскакивая с места, не веря своим ушам, что он говорит.

— Я попросил бы вас говорить со мною учтивее. Объявляю следствие оконченным и обвиняемого свободным.

— Объявляю вас арестованным! — заревел я, как бешеный.

— Меня? — попятился урядник.

— Да, вас, вас, неспособного написать двух слов связно, неспособного понять, что̀ вы вашим идиотским распоряжением, ночью, в пьяной, возбужденной толпе можете наделать, неспособного даже побороть вашу трусость, которая и побуждает вас так действовать. Единственное, что могу вам разрешить,— это дать нарочного для отправки на меня жалобы становому, что арестовал вас. Ступайте за мной в кабинет. А вы,— обратился я к свидетелям,— марш домой. Сидор Фомич! Чичкова отвести на прежнее место, у дверей стань ты, кучер и садовник. Помните, что головою мне ответите, если выпустите.

— Я протестую,— заявил довольно покорно урядник.

— На здоровье,— ответил я.

Устроив урядника в кабинете и отправив нарочного к становому, я пошел к жене.

— Надо тебе уезжать к Беловым,— и я рассказал, что делалось.

— Я никуда не поеду,— решительно объявила жена.— Во-первых, я не верю тому, чтоб крестьяне за все сделанное могли проявить такую черную неблагодарность, а если они и окажутся способными на такую гадость, то я хочу быть с тобой.

— Дети...

— Куда же я теперь с ними пойду?.. Нет, господь милостив, ничего не будет,— я не верю этому; а если уж

люди действительно так злы, то пусть лучше дети разделят нашу участь. Не стоит жить на свете после этого!

— Конечно, ничего не может быть, просто Чичков делает последние отчаянные попытки — не удастся ли? Ему теперь терять нечего, но остальные, если они не замешаны,— с какой стати пойдут за ним?

— Непременно надо сказать крестьянам, что ты их не подозреваешь,— этим сразу ты лишишь почвы человека, которому, если и удастся что-нибудь сделать, так только на этой почве.

— Да никогда и на этой почве ничего не удастся сделать. Я теперь совершенно успокоился.

— И я тоже,— отвечала жена.

Я посидел еще немножко и, когда жена окончательно успокоилась и повеселела, насколько это возможно было при теперешних условиях, скорее — когда мы оба почувствовали себя легко, я встал и сказал:

— Однако все-таки надо быть наготове: «береженого и бог бережет». Надо посмотреть, что делается во дворе.

Я вышел на двор. Сырой осенний рассвет охватил меня. Низкие тучи, погоняемые резким, сильным ветром, неслись над головой. Не то шел дождь, не то моросило; снег почти весь растаял. На востоке совсем посветлело. Из мрака рельефно выделялись строения, сад; дорога черною лентой исчезала вдали.

С деревни доносились нестройные крики пьяной толпы.

Я направился к флигелю. В коридоре, перед дверью, где был заперт Чичков, сидели на полу перед керосиновою лампочкой старик садовник, Сидор Фомич и ключник.

— Сидите, сидите,— остановил я их, когда они, увидев меня, собрались было встать.

Я подошел и тоже присел на валявшийся чурбан.

— Ну что, Павел,— обратился я к садовнику,— думал ты дожить до таких делов?

Старик, слывший за большого начетчика и философа, всегда разговаривал со мной добродушно-наставительным тоном. Я любил слушать его свободную речь.

— Грехи, грехи! — вздохнул он.— Все от дьявола, оттого, что мало, все мало... А вот и ничего не стало — теперь лучше? Точно этим насытишься?

— А чем же насытишься? — спросил я его.

— Благодатию божиею — этим сыт будешь, а этим...—

и Павел махнул рукой.— Насыпала душа полные житницы и говорит: «Ешь теперь, пей и веселися на многие лета». А господь вынул душу в ту же ночь и спрашивает: «А что, душа, где твои житницы? Иди-ка в геенну вечную». То-то оно и есть. Еще господь жалеет, время дает покаяться, грехи свои замолить...

— Я ж, значит, и виноват выхожу во всем этом деле?

— А то кто ж? — спросил спокойно Павел.— С них много ли спросится? Трава они как есть — и больше ничего, а тебе книги раскрыты... Зачем взбулгачил народ? Дьявола дразнить? Урядник дело говорил, становой приехал и разобрал бы все по закону. А не по закону соблазн один. А в писании писано: «Аще кто соблазнит единого от малых сих...» Помнишь? То-то!

— Эх, Павел, ничего ты не понимаешь,— начал было я.

— Все гордыня наша,— продолжал Павел, не слушая меня.— Ты его взял, а кто тебе власть дал? Твоя сила? А если он тебя возьмет? Даве сила-то на твоей была; а сейчас, может, на его сторону перейдет. Ты слышишь, как гомонит-то народ...— и вдруг Павел как-то тоскливо оборвал свой наставительный тон.— Ох, батюшка, никак сюда идут.

Мы все мгновенно вскочили и бросились к окну. Мое сердце сильно стучало.

Вдоль садовой ограды медленно, растянуто двигалась толпа мужиков к усадьбе. Крик, ругань пьяных голосов по мере приближения все больше и больше стихали.

Я стоял, точно очарованный. Мысль, что они могут явиться, ни разу не приходила серьезно мне в голову. Зачем они идут? Требовать освобождения Чичкова? А если я откажусь? Они покончат с нами... С нами? С людьми, которые только и думали, только и жили надеждой дать им то счастье, о котором они и мечтать не смели? Для чего покончить? Чтоб опять подпасть под власть какого-нибудь негодяя вроде Николая Белякова?

Передние вошли во двор и с недоумением остановились, ожидая задних.

Вон стоит пастух, сын той старухи, которой мы некогда сделали русскую печь, выстроили новую избу. Теперь эта изба, эта печь его. Куда девалась его благодушная пат-

риархальная фигура, которою мы так часто любовались с женой, когда, бывало, под вечер во главе своего стада он величественно и спокойно выступал, как библейские пастухи, неся на плече знак своего сана — длинный посох? Теперь борода его всклочена, он сгорблен, шапка сдвинута набок, глаза скошены, в лице тупое выражение не то какой-то внутренней боли, не то бешенства. Рядом с ним стоит Андрей Михеев, которому прощено столько недоимок, сколько у него волос на голове. Он слегка покачивается; оловянные глаза, без всякого выражения, бессмысленно и тупо смотрят на мой дом, ноги расставлены. Он тоже ждет остальных или, может быть, старается вспомнить, зачем он пришел сюда? А вот и старый негодяй Чичков, их новый командир, что-то суетливо и спешно объясняет толпе... Вид его вызвал во мне прилив дикой злобы, смешанной с какою-то ревностью.

Я, со всею моею наукой, со всею моею любовью, со всею моею материальною силой, физически уже побежден в сущности этим простым, необразованным негодяем. Теперь он посягает на последнее: он хочет заставить меня обнаружить и нравственную несостоятельность,— он хочет заставить меня струсить, хочет вынудить исполнить его требование. Мысль, что человек, мною лишенный былой власти над толпой, теперь опять стал коноводом ее — и где же? — у меня во дворе, откуда он всегда так позорно изгонялся,— жгла меня.

«Нет, негодяй, и теперь ты недолго покомандуешь. Нет, это не твоя толпа, которую ты умел только грабить. Это мои — и только ценою жизни я их тебе уступлю».

И, сдерживая охватившее меня чувство, я отворил дверь и стал медленно спускаться к толпе. Меня не ждали со стороны флигеля и заметили, когда я подошел почти в упор. Мое неожиданное появление, вероятно взбешенное, решительное выражение лица произвели ошеломляющее впечатление на Чичкова. Какое-то невыразимое бешенство охватило меня. Я бросился к нему... Дальнейшее я смутно помню. Передо мной мелькнула и исчезла испуганная фигура Чичкова, и я очутился лицом к лицу с молодым Пимановым, сыном караульщика.

— Почему твой отец не на карауле?

Не помню, что он ответил мне, но помню его нахальную, вызывающую физиономию.

— Шапку долой! — заревел я и двумя ударами по лицу сбил его с ног.

— Батюшка, помилуй! — закричал благим матом Пиманов.

Этот пьяный, испуганный крик решил дело.

Передо мной с обнаженными головами стояла пьяная, но покорная толпа князевцев, а сбоку меня — дворня и самовольно ушедший из-под ареста урядник. Чичков скрывался за изгородью.

Я опомнился.

— Вы зачем пришли? — обратился я к князевцам.— Чичкова освобождать? Ну, так вот вам при уряднике объявляю, что это не ваше дело. Всякого, кто пожелает мешаться не в свое дело, я по закону имею право у себя в доме убить и не отвечу. Урядник! я верно говорю?

— Верно,— ответил урядник.

— Слышите? Если я виноват, это дело суда, а не ваше. Приедет следователь, ему и жалуйтесь, а своих порядков не заводите, потому что как бы вместо закона не попасть вам на каторгу. Да и все равно этим ничего не возьмете,— виноватого и без меня накажут. Если богатеи и смутили вас тем, что я думаю на всех, так это не верно; я думаю только на богатых, а вам что за нужда меня жечь?

— Конечно, нам какая нужда тебя жечь? — заорала пьяная толпа.— И мы то ж баяли, а он все свое — сам, баит, видел, как ты велел уряднику всех записать. Ну, нам быдто и обидно,— верой и правдой быдто служили, а нас же и записать.

— А вы и поверили? — спросил я, и горькое чувство шевельнулось в душе. Но вдруг я вспомнил, что то недоверие, которое так обидно обнаружили крестьяне ко мне, выказал и я в отношении их во всей последней истории. Мысль, что, может быть, они не виноваты, в первый раз пришла мне в голову. Но говорить с пьяною толпой было бесполезно.

— Идите с богом домой и никому не верьте,— отпустил я толпу.— Я верю в вашу невинность и благодарю вас за службу.

Нельзя сказать, чтобы последнее я сказал искренно.

Успокоенная толпа весело побрела домой.

На другой день приехал и следователь и становой. Следствие заключилось тем, что Ивана Чичкова, связан-

ного, усадили в сани и повезли в острог. Горе семьи, родных, рыдание жены и троих детей, причитанье баб, прощание всей деревни с преступником были очень тяжелы. Последними словами Ивана были:

— Погубил я себя, а душеньку спас. Будет она в раю, и неугасимая свеча будет гореть перед ней...

Пусто и тяжело было у меня на душе.

Обгорелые кучи, пеньки вместо некогда красивых строений, мертвая тишина во дворе, на деревне, испуганное лицо случайно забредшего, спешившего уйти князевца, грозный вопрос — как дальше быть?..

И это все пронеслось скорее, чем думал я.

К вечеру, как громом, поразила нас эстафета о том, что у матери рак, что необходимо уговорить ее согласиться на операцию и что сестры умоляют нас немедленно приехать.

Перед этою новою бедой вся история с князевцами показалась мне какою-то давно, давно прошедшею.

Ехать, но как: с детьми? только вдвоем или одному?

После долгих соображений решено было ехать всем.

На другой день два экипажа стояли у подъезда. Дворня, несколько баб с деревни, вдовы да сироты, три-четыре мужика — вот и все, провожавшие нас.

— С богом! — крикнул я передовому кучеру, когда мы уселись.

— Ба-а-тюшка, на кого ты нас покидаешь? — завыла Матрена.

Этот одинокий вопль тяжело резнул по сердцу.

— Господи, благослови! — вскрикнул как-то неестественно бойко передний кучер.

Лошади тронулись, звякнули колокольчики — и мы выехали из усадьбы. Вот кончилась и ограда. Назади уже бывший сарай с подсолнухами... Промелькнули обгорелые кучи амбаров... Вот широкое, бесконечное поле...

Несколько ребятишек из учеников жены, копавшихся в развалинах амбара, завидев приближающиеся экипажи, пустились без оглядки к деревне.

Прислонившись к спинке коляски, жена тихо плакала.

По невозможным осенним дорогам, после утомительного трехдневного путешествия, привез я, наконец, свою семью в город. Жена уже в дороге была вся в огне,— к вечеру у ней открылась горячка, осложненная гнойным плевритом. Все сразу.

Через полгода был суд, на который я не поехал. Из письма Чеботаева я узнал, что Ивана оправдали. Он, Чеботаев, был старшиной присяжных, десять из которых были крестьяне. Обстоятельства на суде выяснили полную виновность Ивана, и никто не сомневался в обвинительном вердикте. Присяжные крестьяне не отрицали вины, но находили наказание — шесть лет каторги — несоответственно тяжелым.

«Годка два,— писал Чеботаев,— рассуждали крестьяне,— в тюрьме следовало бы парня для науки продержать, а в каторгу нельзя. Чем виновата жена, дети? Куда они без работника денутся?..» Все мои доводы ни к чему не повели.

Последний аргумент присяжных был тот, что день ясный, божье солнышко по-весеннему сияет,— нешто в такой день человека навечно губить? Жалко барина, а еще жальче сирот да бабу. Барину господь пошлет,— от пожару никто не разоряется, дело божие, смириться надо и проч.».

Мысль, что из-за нас никто не гниет на каторге, конечно, была отрадна жене и мне, но удовлетворенного чувства от правосудия во время чтения письма не было. И только впоследствии, когда обстоятельства вынудили меня съездить в деревню, мне ясно стало, что то, что с нашей точки зрения может казаться высшею несправедливостью, с точки зрения народа будет выражением высшей правды на земле.

Денежные обстоятельства вынудили меня поступить на службу. К счастью, казенная постройка железных дорог дала мне возможность служить непосредственно интересам государства.

Прошло два года. Чувства улеглись, да и дела настоятельно требовали моего присутствия в Князевке. Товарищество соседней деревни Садков предлагало на очень выгодных условиях взять на контракт ту землю, которую я удобрял, с обязательством продолжать удобрение. Двадцать два двора из Князева Христом богом просили оставить часть этой земли для них. Они тоже составили товарищество и тоже с обязательством назмить землю.

С тяжелым чувством решил я, наконец, посетить места, где столько пережил. Вновь выстроенная железная дорога только тридцать верст не довезла меня до моего имения.

«Теперь можно и за интенсивное хозяйство приняться»,— думал я, садясь в свой экипаж, запряженный тройкою ямских лошадей.

Знакомый ямщик выказал большое удовольствие при виде меня.

— Что нового? — спросил я.

— Слава богу, живем помаленьку.

— Пожары попрежнему?

— Храни господь,— ничего не слыхать.

— Землю скоро станут от господ отбирать?

Ямщик повернулся ко мне с лукавой улыбкой.

— Ноне уже по-новому бают. Ни бар, ни мужиков не будет,— вся в казну уйдет.

Я ушам своим не верил, я только что перед отъездом прочел об этой новой идее американского мыслителя, и вот она уже сообщается мне с высоты облучка! Каким образом могла проникнуть сюда эта идея,— случайно или, может быть, как назревшая к выполнению, она, как всякая такая идея, одновременно зарождается в нескольких местах сразу?

— Кто тебе об этом сказал?

— В народе бают.

— Да откуда это пошло?

— А кто его знает?.. Сорока на хвосте принесла.

— Что ж, это хорошо.

— Коли не хорошо,— встрепенулся ямщик.— На казенных землях завсегда урожай, мучить землю там не позволят. Бери каждый сколько надо. Порядки они для всех, как сегодня, так и завтра.

— Не то, что теперь,— в тон сказал я.— Сегодня, к примеру, я, завтра другой. Каждый по-своему!

— Знамо,— согласился ямщик и, подумав, прибавил: — А народу-то каково?

Вот и последний спуск. Показалась деревня.

Екнуло сердце, и тяжелое волнение охватило меня... «Как-то встретят? — думал я невольно.— Будут, вероятно, исподлобья осматривать, как какого-нибудь зверя, с затаенною мыслью: «Что, мол, взял?» Но я ошибся... Меня

встретили так, как встречали в самое лучшее время наших отношений.

Как только завидели мой экипаж, вся деревня, и старый и малый, потянулась на барский двор. Веселые, открытые лица смотрели мне прямо в глаза, каждый от сердца, как умел, спешил высказать мне свой привет. Петр Беляков сказал мне даже что-то вроде речи. Смысл этой речи был тот, что они, крестьяне, очень рады видеть меня, что радуются за меня оправданию подсудимого, что господь не попустил меня принять грех на душу,— взявшись не за свое, а божье дело — преследование поджигателей.

— Господь спас тебя от греха; все доброе, что ты нам сделал, осталось при тебе, не пропало. Господь сыскал их,— закончил он, понижая голос: — Федор, младший сын Чичкова, помер и перед смертью покаялся, что он, а не брат, спалил амбары. Он и все дело раскрыл.

Далее Петр рассказал, что пять дворов по жребию решили сделать пять пожаров. Мельница досталась Килину, который нанял за полведра пастуха, сына той старухи, которой мы некогда выстроили русскую печь и избу, подсолнухи достались Овдокимову, который нанял Михеева...

— И Чичков рехнулся,— продолжал Беляков,— и Михеев от опоя умер, и пастух пропал без вести, да и все богатеи не добром кончили — обедняли, последними людьми стали.

Толпа крестьян молча прислушивалась к говорившему, и в их ясных, открытых глазах светилось полное одобрение оратору, и каждый из них, наверное, сказал бы то же, что сказал Беляков.

Парнишки, бывшие ученики жены, вытянулись за два года, стояли впереди и теми же светлыми глазами толпы смотрели на меня. Эта толпа была один человек...

Я стоял перед этим человеком, взволнованный, растроганный, с обидным сознанием, что я не знал и не знаю этого человека...

1892

НА НОЧЛЕГЕ

Короткий зимний день подходил к концу. Потянулись темные тени, вырос точно оголенный лес, белым снегом занесенные поля стали еще сиротливее, еще неуютнее.

Я в последний раз пригнулся к трубе теодолита, но уже ничего не было видно. Рабочие лениво ждали обычного приказания.

— Баста!

Складывают геодезические инструменты, топоры, побежали за санями.

Я и мой помощник совещаемся, где ночевать нам. Решаем ночевать в только что пройденном поселке.

В Ярославской губернии почти в каждой деревне вы встретите несколько богатых домов, владельцы которых, разного рода подрядчики (маляры, столяры), живут сами с семьей в Питере, а дома оставляют на какую-нибудь старую родственницу.

Дома хорошие, двухэтажные, родственница живет где-нибудь в подвале, в конурке, и на совесть стережет хозяйское добро. Добро оригинальное и разностороннее: какой-нибудь старинный подсвечник или редкие бронзовые часы рядом с самодельным диваном; какая-нибудь ненужная здесь из богатого дома безделушка и громадная, половину комнаты занимающая печь. Все это достаточно некрасиво, безвкусно, ярко и неуютно. И все напоказ.

На ночевку впускают охотно, не хотят рядиться с вечера, а утром требуют столько, сколько стеснились бы спросить даже в столичной гостинице.

Но в выбранном нами поселке ни одного такого дома не оказалось.

Мы за день достаточно продрогли и потому, не теряя времени, остановились перед первой, ничем не лучше, не хуже других, старенькой избой.

Мы вошли в нее. Посреди избы стоял прядильный станок; он работал, шумел, и во все стороны разлеталась от него пыль. Крупные частицы ее тут же опускались на пол, на стол и скамьи, на платье, а мелкая так и стояла в воздухе, погружая избу, несмотря на горевшую лампочку, в удушливый полумрак.

Казалось сперва, что в избе никого не было, но на вопрос: «А что, можно у вас переночевать?» — поднялись сразу несколько фигур, и маленький корявый крестьянин спросил бодрясь:

— А вы чьи?

— Мы изыскания делаем: линию наводим.

Этого было достаточно.

Крестьянин, успокоенный, скрывая даже удовольствие, ответил с напускным равнодушием:

— Что ж?.. Милости просим... Самовара только нет... Окромя писаря, и во всей деревне нет.

— А попросить у писаря?

Крестьянин почесал затылок, подумал, опять почесал и решительно проговорил:

— Не пойду!

— Чего не пойдешь? — спросила спокойно, в упор пожилая изможденная высокая женщина, оставляя работу у станка.

И, помолчав немного, она бросила мужу укоризненное восклицание и начала торопливо натягивать на себя тулуп.

В дверях, накидывая уже платок, она сказала нам: «Будет самовар!» — и исчезла.

Мы разделись, внесли наши вещи, достали свечи, хлеб, закуски и, присев за стол, принялись за свой обед.

За день ходьбы аппетит нагуливается хороший, и, хотя и мерзлое, мы едим усердно, жуем, глотаем и в то же время знакомимся с окружающим.

Корявый крестьянин — глава — оставался и при более ярком освещении все таким же корявым.

Всклокоченный и напряженный, он напоминал собой загнанного петуха, совершенно помятого, но готового, несмотря на это, отстаивать и дальше свою позицию.

Эта взвинченность — явление заурядное в теперешней обстановке деревни: нужда лезет во все щели, и вконец обесцененной работой не заткнуть этих щелей.

Старшая дочь села за станок. Такое же испитое, зелено-желтое лицо.

Остальные обитатели — один другого меньше, до пятилетнего, и у всех тот же болезненный, изнуренный вид.

Впечатление какого-то походного, где-нибудь на войне, лазарета выздоравливающих тифозных.

Еще бы: такой ужасный воздух!

— Зачем вы этот станок в избе держите?

— А куда же его?

— В пристрой.

— Пристрой-построй,— обидчиво бросил крестьянин и завозился с таким решительным видом над куском кожи, что я на время оставил его в покое.

Он заговорил сам нехотя и раздраженно:

— В этой не знаю, как усидеть,— того и гляди свалить велят...

— Кто?

— Кто? Мир... Вишь, не по планту изба, а что такое не по планту? Только и всего, что место приглянулось у кого мошна потуже... Тебе ни строить, ни чинить не дают: как развалится — уходи...— Хозяин нервно хватает руками и опять складывает их.— Да... вот так и уйду: ночью и выхожу на починку... так й тянем. Да, вот так и ушел тебе,— небойсь.

Хозяин жаловался на мир, порядки, а я слушал.

Кто знаком с деревней, тот знаком с такого рода жалобами. И нельзя не признать основательности таких жалоб, конечно.

Я сижу и вспоминаю...

Человек двадцать лет платил выкупные за надел: умер — и семья его нищая. С вдовы мир торопится сорвать все, что может, и пускает по миру ее и детей. Когда дети вырастут (только мальчики), они сядут опять на землю, но до тех пор они могут умереть и с голоду...

Страховку фабричного получит семья, состояние в остальных сословиях — частная собственность; только крестьяне лишены ее. Неравенство в сравнении с другими, говорящее громко за себя. Игнорировать его грех — и тяжелый.

Это пример из имущественных отношений. Я не говорю уже о круговой поруке. Не лучше живется в деревне и в других отношениях.

Мальчик-пастух научился грамоте, сделался миссионером и сдал, наконец, экзамен на священника.

Кто знает деревню, знает, какую страшную волю нужно, чтобы в глухой, без школы, деревушке проделать все это...

Труд Ломоносова бледнеет перед этим трудом.

Я знал этого человека. Сколько стадной ненависти встретил он на своем пути.

— А, ты умнее отцов хочешь быть?! Врешь, не будешь!

И добились своего: не пустили в попы. Шестьсот рублей недоимки насчитали на его семью.

— Уплатишь — иди.

Уплатить было нечем, и теперь этот выдержавший на попа пьет горькую, валяется по кабакам, а деревенская мораль, в лице своих представителей, показывает на негодного пьяницу:

— Хотел умнее нас быть!

Станок стучит однообразно и мерно, летит пыль; девушка раскорякой сидит, работает ногами, высоко подняв их и перегибаясь то в ту, то в другую сторону, то и дело бросая челнок. Сколько быстрых движений и каких разнообразных и неудобных: одна нога так, другая иначе, перегнулась в одну сторону, что-то делает рукой, а другой, неудобно занесенной, ловит челнок.

И все это быстро-быстро.

— И дети работают?

— Как же можно детям? Только эти трое.

Хозяин показал на трех девушек.

— Этой сколько? — спросил я, указывая на младшую.

— Тлинадцатый,— бойко ответила белокурая с рыбьим некрасивым лицом девочка.

— Так что ж,—огрызнулся хозяин,— в невесты глядит.

Стук утомлял, пыль раздражала.

— А когда вы кончаете работу?

— Никогда не кончаем.

— Как? День и ночь?

— Ведь дежурят: их с матерью четыре смены.

Дверь отворилась, клубы морозного пара задвигались по избе, а за ними показалась и хозяйка с самоваром подмышкой.

— Дали? — усмехнулся вдруг повеселевший хозяин.

— Ну, вот и чайку напьемся,— сказал я.

Хозяйка принялась ставить самовар, а хозяин вышел во двор.

— Для кого вы ткете?

— На фабрику, купцу,— ответила хозяйка.

— Много зарабатываете?

Хозяйка не сразу ответила:

— Полтора рубля в неделю.

— Это сколько же в день? В воскресенье не работаете?

— В праздник девушки на себя работают.

— В сутки, значит, двадцать пять копеек, по копейке за час.

— Этак.

— На работника по шести копеек.

— А привезти да отвезти пряжу? Еще два дня с мужиком да с лошадью прикинь.

— И тяжелая работа?

— Нет ее тяжелее.

— А воздух какой? От него ведь не долго проживешь на белом свете.

— Вот в Абрамовском сам купец особый дом выстроил — у всякого свой станок... Там хорошо... И челночок-самолет устроил: сам челночок перепрыгивает, а здесь, видишь как,— изломаться пять раз на минуту всем телом надо... И проворная работа: в три раза скорей против нашей.

— Что ж у себя не заведете такого самолета?

— Где завести? Десять рублей такой челнок стоит,— где их взять?

— Десять рублей? А сколько лет уже работает самолет?

— Лет сорок работает.

— А вы давно работаете?

— Я-то?

У нее умное, длинное белобрысое лицо. Она поднялась от самовара, спрятала руки подмышки и с удовольствием вспоминает:

— Тридцать второй год.

Она опять быстро наклоняется к самовару, и я снова вижу только ее костлявую длинную спину в грязном сарафане.

Я начинаю подсчитывать.

Челнок-самолет в три раза быстрее: в неделю на три рубля больше, в месяц двенадцать рублей, в год сто сорок четыре. В тридцать лет четыре тысячи пятьсот рублей. В пятнадцать лет капитал удваивается — итого до девяти тысяч рублей сбережения.

Я совершенно ошеломлен и делюсь впечатлением с хозяйкой.

Она бросила совсем самовар, подсаживается ко мне, и начинается проверка моих вычислений. Мы по нескольку раз возвращались назад, она впилась в меня, и когда, наконец, снова получается девять тысяч сбережений, она замирает и так и сидит недоумевающая, огорченная.

— У вас была бы такая пенсия, такое состояние...

Она напряженно думала и вдруг, встав, равнодушно сказала:

— Суета бескорыстная...

— Как вы сказали?

— Говорю: суета бескорыстная вся наша работа.

Она отошла к самовару и то рассеянно, то убежденно все повторяла:

— Суета бескорыстная.

Хорошее выражение.

А от станка все так же несется пыль, забиваясь плотнее в углы старой избы, и в грохоте и стуке его, точно эхо, по слогам кто-то повторяет в душной, смрадной избе:

— Суета, суета, суета.

С рассветом мы покинули избу в тот момент, когда за станок усаживалась новая заспанная очередная, и, уже за окнами, я все слышал еще знакомое:

— Суета, суета, суета...

И долго еще я не мог отделаться от мысли и об этом станке, сорок лет тому назад выдуманном, с его стоимостью в десять рублей, и об этой семье, пристегнутой еще к деревне и уже тяжело и грубо отрываемой от нее иной жизнью.

1898

НА ПРАКТИКЕ

I

Южное лето. Жара невыносимая. Точно из раскаленной печи охватывает пламенем. Горит воздух, степь, горят все эти здания громадного вокзала.

Полдень.

На запасном пути на площадке раскаленного черного паровоза в одном углу на перилах сидит унылая фигура машиниста с большим красным носом.

Пропитанный салом картуз съехал на затылок и точно приклеен к голове. Куртка, штаны — когда-то иного, а теперь такого же, как окружающий уголь, черного цвета — тоже пропитаны и лоснятся салом. Запах этого сала тяжелый, одуряющий. Масло и сало везде: на рукоятках, на площадке, на стойках, на руках. Пучки пакли — род утиральника — тоже в сале, и вытирание рук — только самообман. Этой паклей я — другая фигура на площадке паровоза, в другом углу — виновато и бесполезно, чтобы только что-нибудь делать, тру свои руки.

Я — студент-практикант.

Первый день моей практики.

Только что кончили маневры, и полчаса-час мы будем стоять так: на припеке, с полупотухшим паровозом, который, как какое-то громадное, грязное, замученное животное, теперь отдыхая, тяжело сопит, парит.

Машинист Григорьев мрачно смотрит вниз. Вся его фигура грозного судьи красноречиво говорит: «Ну, что ж теперь будем делать?»

Я понимаю и сам, что дело из рук вон плохо.

Нас на паровозе всего двое: он — машинист и я — кочегар.

Но, собственно, это «я — кочегар» один звук. Я даже лопату в руках держать не умею. Этой лопатой надо перебросить из тендера в топку до трехсот пудов угля в сутки. Кроме лопаты, много других инструментов, которыми тоже надо уметь владеть и систематично поспевать делать накопляющуюся работу.

Резак, например. Добрых полторы сажени, чуть ли не пудовый металлический стержень с загнутым острием на конце.

Лежа на животе под паровозом, держа один конец этого резака в руках, надо другим, пропуская его между колосниками топки, подреза́ть накопляющийся там шлак.

Подреза́ть его надо для того, чтоб проходил воздух, иначе гореть не будет, а тогда не будет и пара, как не будет его, если не уметь бросать в печку уголь так, как его надо бросать: к краям толще, к середине тоньше.

А я бросаю как раз наоборот. И кажется, вот-вот хорошо — и опять на середину, и опять мрачно говорит Григорьев:

— Могила!

И он раздраженно опять вырывает из моих рук лопату.

Ловко летит с лопаты уголь, и белое пламя топки почти не краснеет, а у меня от одной лопаты и дым и красное пламя — все признаки неполного сгорания. И сейчас же манометр падает, работать нечем, а тут как раз надо воду качать, надо сало спускать в масленках, надо новое наливать, надо чинить расхлябавшиеся подшипники, тормозить паровоз, кричать составителям и зорко следить, чтоб не стукнуть друг с другом те задние где-то в бесконечном отдалении вагоны. Все это надо делать мне, и все это делает, кроме всех своих других обязанностей, Григорьев, и после каждой сделанной за меня работы он все тем же безнадежным, долбящим голосом говорит:

— Так, так... А кто ж работать будет?!

И как раз в это время где-то там, сзади: бух-тах-тарарах! с какой-то всеразрушающей силой стукаются вагоны и, кажется, в щепки летят. Григорьев хватается за регулятор, кричит дико: «Тормоз!» Я бросаюсь к тормозу,

отчаянно верчу, но не в ту сторону — я растормаживаю, вместо того чтоб затормозить

— А-а-а!

В этом «а-а-а», в этой поднятой ноге, в руках, схватившихся за голову, все бессилие, вся злоба, все бешенство несчастного. Каторга, из которой каким-то порывом он хотел бы унестись и сразу забыть этот проклятый паровоз, роковые выстрелы стукающихся вагонов и дурацкую фигуру оторопевшего, никуда не годного своего помощника.

И опять кричит он в отчаянии:

— Да что ж это, наконец?.. Шутки шутить, что ли, мы будем?

Тошно! Провалиться... Убежать сейчас и не возвращаться. Да, вот... Ехал на практику, выбрал самую тяжелую, был горд сознанием предстоящего черного труда.

Унылая фигурка Григорьева скрючилась и застыла. Я все так же тру руки паклей... Лучше б уж он ругался.

— Нагортайте угля!

И, не дожидаясь, пока я соображу новое, непонятное для меня распоряжение, Григорьев уже хватает лопату, взбирается на задний край тендера и начинает оттуда подбрасывать уголь к топке.

И я взбираюсь за ним и, поняв, чего от меня требуют, говорю смиренно:

— Позвольте мне...

Боже мой, с каким колебанием передается мне эта лопата! Какое презрение ко мне! Точно это фельдмаршальский жезл, а я презреннейший из трусов.

Когда около топки образовывается порядочная горка, Григорьев как будто через силу говорит:

— Ну, ступайте обедать!

Я спускаюсь с паровоза на землю и робко спрашиваю:

— Вы не можете сказать мне, где здесь можно пообедать?

Григорьев говорит отвернувшись:

— Направо из ворот: написано на вывеске... Да не сидите там три часа!

Я шагаю. Новенькая парусиновая блуза уже вся в пятнах, слой угольной пыли на ней, на лице, волосах. Пот струйками пробивает в пыли дорожку по щекам. Я стираю этот пот и чувствую, что размазываю на лице грязь.

На зубах хрустит уголь, но есть хочется, так хочется, что от мысли, что сейчас буду есть, все невзгоды первого дня отступают на задний план. Какое-то смутное утешительное сознание: перемелется — мука будет. В воротах молодой кочегар Иванов, с которым я познакомился сегодня утром в конторе глухого и грозного начальника депо.

Кочегар, засунув руки в карманы, ждет меня, насвистывая какую-то песенку.

— Ну? — весело спрашивает он, когда я подхожу.— Григорьев не побил?

— Только что не побил,— отвечаю я, и сразу мы оба чувствуем себя старыми товарищами.

Мы идем направо по площади, туда, где над маленькой дверью харчевни нарисована какая-то большая птица, проткнутая вилкой и ножом.

— Да вот,— говорит мой товарищ,— ругатель Григорьев, конечно, а вот насчет этого, только он да мой — своих кочегаров вперед себя обедать пускают.

В темной, обширной, с невысокими потолками харчевне много народа: машинисты, слесаря, кузнецы. Лица черные, закоптелые, у машинистов важные, и тем важнее, чем больше нашивок из галуна на шапке. С каким сосредоточенным важным видом ест один с тремя нашивками, еще молодой, с русой бородкой, умными, твердыми голубыми глазами.

Там, дальше, группа уже поевших. В центре большой, плотный, отвалившись, улыбается, слушая соседа, и, прищурившись, смотрит начальственно на нас. Рядом с ним высокий, худой, с жидкой бородкой, с тремя нашивками, веселый немец что-то говорит, и все кругом хохочут.

— Это Альбранд из Вены,— все врет, но так, что животики надорвешь,— говорит мой спутник.

Какой-то машинист за другим столом, мрачный, желчный, стучит кулаком и грозно говорит:

— Я своего паровоза не дам!.. Расплююсь, уйду, а не дам!

Небрежно откинувшись, куря сигару, слесарь читает газету.

Нам дали борщу с большим куском говядины, на столе хрен с уксусом, гора ломтей темного пшеничного хлеба, один запах которого уже вызывает усиленный ап-

петит. На второе дали тушеную говядину с густым черным соком, с поджаренным картофелем.

Я, всегда смотревший на еду, как на какую-то скучную формальность, здесь ел, ел, и, чем больше ел, тем больше хотелось. Ел и с наслаждением представлял себе родных, знакомых барышень. Если б они увидали теперь меня здесь! Моя мать, которая была в отчаянии по поводу моего обычного ничегонеяденья, всегда говорила:

— Твой желудок — дамочка, и самая капризная из всех.

А осенью у меня будет в кармане аттестат машиниста!

Я заплатил за свой обед двадцать копеек, и мой товарищ говорит мне:

— Григорьев... я его, зуду, хорошо знаю, я тоже начал с ним ездить,— ему всех новичков дают, потому что другие, вот эти все, такого кочегара, как вы, в шею бы погнали с паровоза, а он берет,— он теперь несколько дней, пока вы не приучитесь, и обедать не будет ходить. А вы ему бутылочку водки купите и отнесите: он это любит, помягче станет с вами.

— Так, может быть, и обед ему снести?

— Это тоже не худо было бы!

Нашлись и судки; мы взяли с собой щей, жаркого, огурца, хлеба ворох, бутылку водки.

— Ну, уж валяйте ему и пива,— пусть старичина повеселится. Вместе понесем.

— Дядя, Григорий Иванович! — кричал еще издали мой товарищ,— мы к вам с поклоном и повинною.

— Ну, какие там еще... Ничего не надо!

И Григорьев, как те игрушечные медведи, что заводят и они возятся и ворчат, завозился в своем углу, вытаскивая грязный платок с провизией.

Мой товарищ, очевидно успевший изучить бывшее начальство, сломил, однако, упрямство Григорьева, и немного погодя, энергично хрустя зубами, тот уже уничтожал принесенное нами.

Он сидел на корточках, открывая, как пасть, свой широкий рот, и говорил в промежутках, обращаясь исключительно к своему бывшему помощнику:

— Все это лишнее! — он тыкал на борщ, жаркое.—Ну, вот это,— он указал на водку,— пожалуй, что и полезное.

Когда за двух приходится работать, где же силы взять — она вот и помогает...

Он брал бутылку и осторожно наливал в свою с отбитым донышком рюмку.

— Вот это,— он показал на пиво,— тоже по-настоящему дрянь: это немцам, а наш брат...

— Водка, конечно, тверже,— соглашался мой товарищ.

— Ну, так как же! — пренебрежительно говорил, кивая головой и прожевывая новый кусок, Григорьев.

Так говорил он, пока все полезное и бесполезное было уничтожено. Завидев бегущего составителя, Григорьев, поднимаясь, бросил, ни к кому не обращаясь:

— Ну, теперь и терпеть можно!

И мы опять принялись за работу и работали до заката.

Тогда нам снова дали передышку на полчаса.

Григорьев полез в свой сундучок, вынул оттуда грязный платок с провизией, развернул его и достал колбасу и хлеб. Молча отрезав кусок колбасы и хлеба, он передал их мне, и я, уже опять голодный, принялся за них с большим удовольствием.

— Водки хотите?

Я отказался. В бутылке ее оставалось уже немного, и Григорьев был доволен, очевидно, моим отказом, хотя и ответил:

— В нашем деле без водки не проживешь.

После этого мы молча ели, каждый в своем углу: Григорьев около рычага, я около тормоза — отделение кочегара.

От этого тормоза ломило руки, и на ладонях были уже большие водяные, красные по краям мозоли.

Но в общем я чувствовал себя прекрасно. Худо ли, хорошо ли я выполнял свои обязанности, но старался я на совесть и устал так, как, кажется, еще никогда не уставал. И в то же время я чувствовал себя таким свежим. И все кругом гармонировало с моим душевным настроением.

День стихал неподвижный и ясный. Откуда-то из города доносился замиравший, словно утомленный шум.

Солнце опускалось за горизонт, плавя его в золото, сквозь которое светилось там, где-то далеко, зеленовато-бирюзовое нежное небо. Несся со степи запах свежего сена, слышалась песня возвращающихся с работы косцов.

Хохлацкая песня — задумчивая, нежная, так много говорящая, так трогающая самые сокровенные уголки сердца.

Казалось, паровоз — и тот проникся настроением: стих и только тихо, жалобно посвистывал.

Бедняга! Он был уже старый, очень старый ветеран, сданный после всех долгих походов на станционные маневры. Живого места, как говорится, не было в нем: хлябали подшипники, стучали цилиндры, золотниковая коробка сработалась вконец, а сальники, масленки парили, как не парят взятые вместе сорок паровозов линейных. И мы всегда вследствие этого носились в облаках пара, и в такт главному дыханию паровоза вторили несколько второстепенных из сальников, цилиндров, коробок.

А что делалось, когда приходилось тащить тяжелый состав — вагонов сорок — пятьдесят! Тогда со всех концов нашего паровоза вылетало столько пара, что казалось, что он унесет вверх и нас и наш паровоз № Д 34-й.

Мы поели и ждем составителя.

Григорьев, сидя, манит пальцем меня и говорит ласково, насколько это возможно для него, конечно:

— Подите сюда, молодой человек.

Я подхожу.

— Вы что ж, из лакеев, что ли? У господ служите? — поясняет он, замечая мое недоумение.

Еще вчера я был уверен, что произведу страшный эффект, когда сообщу своему машинисту, что я ни более ни менее как студент института инженеров путей сообщения.

Теперь я об этом больше не думаю и возможно скромнее стараюсь объяснить Григорьеву, кто я. Григорьев — машинист из слесарей, ни в каких школах не бывавший, и поэтому все ранги ученические для него китайская грамота: ученик приходской школы, студент — все тот же ученик, и берет он вопрос по существу.

— Чему же в четыре — пять месяцев научитесь? Если вы хотите научиться, вам надо идти в мастерские сперва. Года через четыре вы будете слесарем и даже механиком,— тогда поступайте в кочегары, года три поездите, получите испытанного кочегара. Будете тогда человеком. А теперь что ж?! Ну, дадут вам паровоз,— сломается что-нибудь в дороге: так и будете стоять?

Я опять объясняю, что это только практика для меня, что я не буду ездить машинистом, что мне нужен только аттестат машиниста. Еще меньше Григорьев понимает.

— На что же такой аттестат?

Но уже бежит составитель — Григорьев берется за регулятор и продолжает, рассуждая сам с собой, пожимать плечами.

II

Уже месяц прошел с начала моей практики.

Я уже выгляжу настоящим кочегаром: такой же черный, как весь окружающий нас уголь. Попрежнему, как ни брошу в топку — все могила, то есть бугор посередине; но когда подходят к нам другие машинисты и весело спрашивают, кивая на меня:

— Ну, как он?

Григорьев снисходительно отвечает:

— Ничего,— пойдет дело.

Со всеми этими машинистами, кочегарами, слесарями, кузнецами я — приятель, и мы трясем руки друг другу так, что надо удивляться, как еще не оторвана моя рука и не раздавлены пальцы.

Все на станции знают меня, студента-практиканта.

— Что, барин,— говорит добродушно стрелочник, около которого мы стоим в ожидании составителя,— видно, не на белой земле хлеб растет?

— Да, тяжелый труд...

Чтобы поспеть к восьми часам утра на смену и иметь хоть тридцать фунтов пара, надо начать растапливать паровоз с четырех часов утра. Можно, конечно, и скорей растопить, если не жалеть дров на растопку, но за экономию дров самая большая премия, и следовательно, прямой убыток и Григорьеву и мне.

Когда разгорятся дрова, я бросаю кардиф в брикетах— род кирпичей,— пока не набросаю его в уровень с топкой. Кардиф дает жар, а пламя дает ньюкестль, черный, блестящий, мелкий уголь, который разбрасывается тонким слоем по кардифу.

Ровно в восемь часов утра на другой день мы кончаем дежурство. Но это еще далеко не конец. Мы отправляемся на угольную станцию взять запас угля на будущие

сутки, затем едем за дровами и часам к двенадцати, наконец, въезжаем в паровозное здание.

И тут еще до конца далеко. Надо потушить паровоз, переменить набивки в сальниках и вычистить машину, пока она еще горяча. Часам к двум все кончается. Надо еще обмыться; и мы идем в ванную, моемся, чистимся и все-таки черные и грязные идем обедать.

Часа в три дня я попадаю на квартиру: напиться чаю и спать, потому что в три часа ночи уже опять вставать на работу. И вот из сорока восьми часов — двенадцать часов отдыха. По шести часов в сутки. Все остальное время в работе, и в какой работе!

— Тормоз! Тормоз!

— Угля!

— Поддувало!

О, это поддувало! С этим проклятым резцом я лежу под паровозом, держа его за один конец, и другим на весу пробиваю шлак там, в слившейся под одно с колосниками огненной массе.

Жар, пепел захватывают дыхание, от напряжения стучит в висках, немеют руки. Ох, как часто, бросив в изнеможении резец, я лежал трупом там, под паровозом, и думал: пусть он меня раздавит, разрежет, но я не двинусь больше с места.

Но уже кричит Григорьев откуда-то сверху:

— Ну, что ж вы там, уснули, что ли?

И опять убежавшие куда-то силы возвращаются, и снова слышатся глухие удары из моего склепа.

— Ну, скорей назад! — кричит Григорьев.

Вылетит сперва из-под паровоза резец, а затем между двумя колесами пролезаю и я в то мгновение, когда колеса уже трогаются. Меньше даже мгновения, но этого всетаки достаточно, чтоб я успел выпрыгнуть. А не успею, что-нибудь вдруг случится — судорога, зацепится нога?!

Григорьев не увидит. Он на той стороне и точно и забыл о моем существовании. Я подбираю резец и уже на ходу вскакиваю на подножку паровоза. Вскочить, выскочить при скорости в тридцать верст — все это я уже проделываю с искусством обезьяны.

Я сказал: Григорьев не увидит.

Но он всегда и все видит.

Раз, еще в начале как-то, я соскочил неловко с двигавшегося уже паровоза и упал на откос бугра земли, приготовленного для полотна дороги. Откос был слишком крутой, чтоб удержаться на нем, и я стал медленно сползать вниз к полотну, прямо под проходивший ряд вагонов, которые тащил наш паровоз № Д 34.

Это были ужасные мгновения. Сверхъестественной волей стараясь удержаться и в то же время все сползая, я все смотрел туда, вниз, на бегущие мимо меня колеса вагонов, угадывая, которое из них разрежет меня.

Так бы и случилось, потому что я в конце концов упал прямо под колеса... остановившегося вдруг поезда. Григорьев остановил.

По моему ли прыжку, по мелькнувшей между стойками фигуре, уже лежавшей на земле, по верхнему ли просто чутью,— от Григорьева я так и не добился,— но Григорьев мгновенно закрыл регулятор, дал контр-пар и целый ряд тревожных свистков. Ни свистков, ни стука щелкавшихся друг о друга вагонов, стука, похожего на залпы из пушек,— я не слыхал. Все, кроме зрения и сознания неизбежного конца, было парализовано во мне.

Еще бо́льшую находчивость и быстроту соображения обнаружил с виду неповоротливый Григорьев в другой раз.

Как известно, паровоз соединен с тендером как бы на шарнирах для того, чтобы дать возможность самостоятельно двигаться в известных пределах как паровозу, так и тендеру.

Это нужно на таких крутых кривых, как стрелки, где соединенные неподвижно паровоз и тендер не смогли бы пройти.

Соединение это прикрывает выпуклая чугунная крышка, неподвижно прикрепленная к тендеру и свободно двигающаяся по площадке паровоза. Когда паровоз идет по прямой, тогда между стойкой паровоза и этой крышкой расстояние так велико, что свободно помещается нога. При проходе же по стрелкам расстояние это уменьшается и доходит почти до нуля.

Я зазевался и заметил, что нога моя попала между крышкой и стойкой тогда, когда выдернуть ее оттуда уже больше не мог.

Все это произошло очень быстро, а дальнейшее происходило с еще большей, непередаваемой быстротой. Я тихо сказал:

— Мне захватило ногу.

Если б Григорьев повернулся, чтоб сперва посмотреть, как именно, чем захватило, то время уже было бы упущено и я остался бы без ступни. Но Григорьев в одно мгновение, не закрывая регулятора, дал контр-пар.

Сила нужна была для этого неимоверная. Малосильного рычаг так бросил бы вперед, что или убил бы, или изувечил, и был бы достигнут как раз обратный результат — паровоз в том же напряжении, но только с гораздо большей силой помчался бы вперед.

Я отделался разрезанным сапогом, ссадиной и болью, а главное — испугом.

— Будете в другой раз ворон ловить? — ворчал Григорьев, устремляя опять паровоз вперед.— Только время с вами теряешь да паровоз портишь. Вот хорошо, что старый все равно паровоз, никуда не годится. А если б новый был, да стал бы я так рычаг перебрасывать: да пропадайте вы и с вашей ногой!

И, так как мы в это время подходили к вагонам, он резко крикнул:

— Тормоз!

Я крутил изо всех сил тормоз и смотрел на Григорьева. В этой маленькой сгорбленной фигуре с красным большим носом обнаружилась вдруг такая сила, такая красота, о которой подумать нельзя было. А потом, кончив составлять поезд, в ожидании другого, он опять сидел на своей перекладине, маленький, сгорбленный, угрюмый, сосредоточенно снимая ногтем со своего красного носа лупившуюся кожу и угрюмо говоря:

— Лупится, проклятый, хоть ты что!..

Так шло наше время. Весь мир, все интересы его исчезли, скрылись где-то за горизонтом, и, казалось, на свете только и были: Григорьев, я да паровоз наш. От поры до времени я бегал за водкой Григорьеву, чтоб он поменьше ругался. И всегда он ругался, и в то же время я чувствовал какую-то ласку его, постоянную, особенную, по существу деликатность, которой он точно сам стыдился.

Ночью, например, когда я, устав до последней степени, держась за тормоз, спал стоя, он вдруг раздраженно крикнет:

— Ну, что носом тычете? Все равно никакой пользы нет от вас — ступайте спать!

Вот блаженство! Я взбираюсь на тендер и, выискав там подальше от топки местечко, чтоб Григорьев как-нибудь и меня вместе с углем не проводил в топку, укладываюсь на мягкий ньюкестль, кладу под голову кирпич кардифа, одно мгновение ощущаю свежий аромат ночи, еще вижу над собой синее темное небо, далекие, яркие, как капли росы, звезды и уже сплю мертвым сном.

Никогда потом, на самых мягких сомье, я не спал так сладко, так крепко.

III

— Сегодня мое рождение,— сказал как-то в июле Григорьев, когда наступила обеденная пора,— в харчевню мы не пойдем, а будем свой пирог есть и другое что́.

А в это время, испуганно оглядываясь на нас, уже подходила с судками худенькая, лет пятнадцати, девочка.

Она была в светлом платочке, отчего маленькое загорелое лицо ее казалось еще темнее и рельефно выделялись только ее большие, горящие, как уголь, глаза.

Наблюдая, как она подходила, Григорьев, сегодня благодушный, причесанный, ворчал:

— Вишь, воструха, а оробела здесь,— и, усмехнувшись, добавил: — Моя дочка... Мать только вот померла. Надо бы жениться, да вот не хочет... Да и я не хочу... Ну их!..

Он повернулся к дочери и крикнул:

— Вот, если бы дома Маруся да такая тихоня,— ох, хорошо бы было!

Маруся уж подавала отцу судки, а затем и сама быстро взобралась на паровоз, одним взглядом осмотрев сразу все, и меня в том числе.

— Ну, знакомьтесь, да будем обедать все трое, чем бог послал.

Я поклонился, назвал свою фамилию, пожал ее руку.

— Ишь каким кобельком...— усмехнулся Григорьев.

Когда за едой я, обращаясь к ней, назвал ее по отчеству, Григорьев угрюмо заметил:

— Какая там еще «Марья Григорьевна» да еще «вы»? Вбиваете ей в голову. И так огонь девка, сладу нет,— Маруська, ты, да за вихры, чтобы понимала...

Маруська только носом потянула да бросила на меня вызывающий, веселый взгляд.

Ее наружность произвела впечатление чего-то находящегося еще в работе, и закончены были пока только эти чудные, живые, всеговорящие глаза.

Эти глаза остались в памяти.

Мы уехали на пристань делать там маневры. Перед нами было море, выпуклое, полное напряжения, все в блестках, и чувствовались в нем глаза Маруси.

В этот день я сделал подарок Григорьеву.

Как-то раньше, во время отдыха, сидя по обыкновению на перилах, Григорьев, поманив меня пальцем, спросил:

— Вы читали Лермонтова? Помните...

И он начал декламировать: «Отец, отец, оставь угрозы...» Декламировал он так быстро, так незвучно, что если не знать, что именно он говорит,— понять ничего нельзя было бы.

Оборвавшись на какой-то строчке, он с горечью проговорил:

— Девчонка, баловница негодная, выдрала с полкнижки, и вот не знаю, где бы достать, чтобы переписать выдранное...

Я купил тогда же сочинения Лермонтова, отдал их переплести в красивый переплет с вытисненным именем, отчеством и фамилией Григорьева и все не решался передать книгу Григорьеву.

День его рождения был очень удобный случай.

После обеда я отпросился на минуту домой и принес Лермонтова.

Григорьев сидел, что-то напевая. Когда я подал ему книгу, он прочел название и, радостно встрепенувшись, сказал:

— Ну, вот так спасибо, такое спасибо,— ночи спать не буду, пока все, что вырвано, не перепишу.

— Списывать не надо: вот, прочтите, чья эта книжка.

Григорьев, поняв, в чем дело, растрогался до слез. Вытирая их жестким рукавом, он говорил:

— Никто мне за всю мою жизнь такого баловства не делал... И как раз в такой день, точно знали вы...

И, успокоившись, бережно завернув книгу, он, усевшись опять на перила, заговорил:

— Эх, милый, милый, не сладка вся жизнь моя вышла... Я ведь так и вырос без отца и матери... Кто они? Кто скажет? Вот так, сколько помню, и жил на улице и дни и ночи... Сколько раз замерзал совсем... А сколько били и как били!.. Был и сапожником, и лавочником, и шапочником, и кузнецом... Тут вышло вроде замирения у меня — женился я... Был уж кочегаром... Вот так же все не дома да не дома. Женщина молодая, да и во мне-то какая сласть: снюхалась с одним тут... так, прощелыга. Приехал раз с поезда: никого, и дверь не заперта,— иди кто хочешь, бери что хочешь... И остался я сразу один опять... Тут я и стал вот этой самой бутылочкой ушибаться... А года через два вдруг объявилась: еле живая приволоклась вот с этой самой девочкой... Через месяц и богу душу отдала... Так убивалась перед смертью... да уж и я выл медведем: хоть и опоскуженная, хоть и не за мной убивается, а из сердца не вырвешь, да и чем дитю-то несчастное виновато, что должно оно без матери и отца остаться?.. Что мне врать? Была бы воля — лег бы за нее в гроб и сейчас даже...

А через несколько дней Григорьев, счастливый, как ребенок, принес мне грязную с подшитой тетрадью книжку и сказал:

— Переписал-таки! Эта книга будет мне на будни, а вашу по праздникам стану читать.

IV

Однажды, когда, окончив дежурство, мы подъехали, по обыкновению, к депо, глухой начальник сказал Григорьеву:

— Вы с вашим кочегаром назначаетесь в поезда: конец маневрам. Сегодня отдыхайте, а завтра сдавайте свой и получайте новый паровоз.

На другие сутки, в половине двенадцатого ночи, мы уже выходили со станции с нашим первым поездом.

Я волновался. Григорьев был торжественен.

Моросил дождик, и Григорьев спросил:

— Сухого песку не забыли насыпать в песочницу?

Я обмер, вспомнив только теперь о злополучном песке, но ответил:

— Насыпал!

Сейчас же за станцией начинался подъем, колеса паровоза забуксовали на мокрых рельсах, и Григорьев озабоченно крикнул мне из своего угла:

— Песок!

Я задергал ручку песочницы, и пустая песочница звонко затрещала.

— Игрушки, что ли? — крикнул Григорьев, как давно не кричал.— Знаете сами, что нет песку! Сейчас съедем назад и перебьем весь поезд,— ступайте перед паровозом и посыпайте рельсы балластным песком.

И вот я иду перед паровозом, беру с пути песок, сыплю его на рельсы, и чудовище-паровоз со всем своим длинным хвостом, злясь и пыхтя, готовое каждую секунду, споткнись только я, раздавить меня, но все-таки покорное, укрощенное, тихо тянется за моей рукой. Точно я сам, гигант Самсон, тащу весь этот поезд.

— Ну, будет, садитесь!

Паровоз прибавляет ходу, я вскакиваю, и мы едем.

Темная ночь охватывает нас со всех сторон, брызги дождя летят в лицо, ветер рвет шапку, раздувает блузу; мы оба, высунувшись, во все глаза смотрим вперед в непроглядную темь.

Смотрим, чтоб во-время увидеть неисправность пути, лежащий на рельсах какой-нибудь предмет, переходящую через путь лошадь, человека.

И вдруг из-за крутого закругления перед мостом фонари паровоза освещают дикую, полную ужаса картину: табун спутанных лошадей, бешено скачущих по полотну.

И в одно мгновенье все остальное: Григорьев открывает полный регулятор, и мы на полном ходу врезываемся в эту живую массу,— впечатление, точно поплыли вдруг мы; с моста летят лошади, треск, и уже опять мы несемся, охваченные снова только безмолвием и мраком ночи.

Григорьев крестится, я все еще держусь двумя руками за стойку, точно это помогло бы чему-нибудь, если б и мы слетели туда, вниз, вместе с лошадьми.

— Счастье, что еще с разбега да регулятор успел открыть... А вот, если бы шпалы лежали на пути,—тут, что тише проскочишь, то меньше беды. А лошади там, коровы, люди — уж если нельзя остановить, что резче, то лучше... Беда, что было бы: десять сажен мост, а поезд воинский!

Приехав на станцию, мы заявили, и нас осмотрели. Колеса паровоза были в крови, в волосах от грив и хвостов; оторванная голова лошади так и осталась и страшно торчала из-за колеса паровоза.

— Вот так крещенье! — повторял, осматривая, Григорьев.

Я ходил, смотрел и думал: мыть-то, мыть сколько придется — все три часа отдыха в оборотном депо уйдут на это...

И обычным путем пошла наша линейная работа.

Приедешь на оборотное депо, и через сутки дежурство, то есть время отдыха стоять под парами, готовясь делать маневры.

Движение усиленное, и маневров много. Приедешь домой,— двенадцать часов отдыху — и назад. Когда движение усилилось, мы отдыхали шесть часов и не в очередь стояли на парах.

Однажды, когда мы пришли с поездом на оборотное депо, оказалось, что очередной паровоз испортился, и нас без передышки погнали дальше...

Мы прошли еще сто пятьдесят верст. Там нас заставили делать маневры и погнали назад в наше оборотное депо. А оттуда, без всякого отдыха, опять мы поехали с новым поездом домой.

Шли третьи сутки работы без остановки, и у меня было впечатление, что я давно уже вылез из своего тела,— я его совершенно не чувствовал, кроме глаз, глаза оставались телесными, но ничего больше не видели: их что-то выпячивало изнутри, что-то тяжелое налезало сверху, такое тяжелое, что сил уж не было удерживать его.

Кончилось тем, что и Григорьев и я стоя заснули.

Так, в сонном виде мы проскочили две станции. Нам кричали, бросали камнями, перебили все стекла в будке, но мы ничего не слыхали.

На третьей станции, наконец, смельчак-составитель вскочил на полном ходу на паровоз и привел к жизни две застывшие, как статуи, фигуры.

Мы возвратились на станцию, где, признав нас невменяемыми, ссадили нас, отправив поезд с экстренно вызванными машинистом и кочегаром.

Чтоб проехать две станции, надо было и воду качать и подбрасывать от поры до времени уголь. Очевидно, значит, Григорьев иногда просыпался, подбрасывал уголь, качал воду.

Что до меня, то, держась двумя руками за стойку, я стоял и спал как убитый.

Все дело кончилось тем, что Григорьева, снисходя к усталости его, оштрафовали на двадцать пять рублей, а меня на десять.

V

Конец практики.

Я в вагоне, еду обратно в свой институт опять одетый в форму, умытый, причесанный, но еще с черным цветом лица. Микроскопические крупинки угля забились в кожу, проникли в поры, и, как говорят опытные люди, мой обычный цвет лица возвратится ко мне не раньше полугода.

Аттестат, о котором я мечтал, я не взял. Но я вез с собой более ценное; я узнал, что такое труд, и я вез масштаб этого труда,— мерило на всю дальнейшую жизнь.

И когда в жизни находили иногда, что я могу напряженно работать, я думал: чего стоит всякая другая работа в сравнении с каторжной работой тех неведомых тружеников?

Чего стоит война с ее героями, усилиями в течение полугода, года в сравнении с этой постоянной войной, постоянной опасностью, напряженнейшей работой в мире?

Пятнадцать лет такой работы — и машина человеческого организма вся разбита: от постоянного стояния и тряски ноги отказываются служить; слепнут глаза от постоянного контраста белого огня топки и темной ночи; ревматизм развивается от резкого перехода от жара котла к холоду снаружи. И никуда не годный работник выбрасывается без пенсии, без всяких средств, с отобранным в штраф последним жалованьем, выбрасывается на улицу, на церковную паперть.

Наше прощанье с Григорьевым было очень трогательное. Провожать меня собрались все свободные кочегары и машинисты. Я угостил их, мы выпили, расцеловались, и я уехал.

— Когда будете большим человеком, не забывайте нас, маленьких людей!

— И бог вас не забудет!

— Не забывайте же, что хлеб не на белой земле растет!

— И будьте всегда и прежде всего человеком!

Так провожали меня и кричали мне, когда отходил поезд, и изо всех окон смотрели пассажиры с недоумевающими лицами: о чем кричит вся эта пьяная компания черных людей, место которым где угодно, но не на глазах чистой публики?

VI

Прошло несколько лет. Я был назначен строителем части строившейся линии. Было утро. По обыкновению, толпа народа находилась в конторе, и я, весь поглощенный работой, спешил удовлетворить нужды всех этих людей.

— Ну, здравствуйте,— раздался вдруг грубый голос надо мной, и черная мозолистая рука бесцеремонно протянулась ко мне.

Я уже успел со дней моей практики отвыкнуть и не жал больше таких рук.

Этот грубый перерыв моей работы, эта нахально протянутая рука покоробили меня, и я поднял раздраженные глаза.

Передо мной стоял сутуловатый, угрюмый, грязный господин с большим красным носом.

Спокойным, слегка пренебрежительным голосом он спросил:

— Не узнали?

— Узнал, конечно, Григорьев!

Такой же, хотя постарел и горечь в лице.

— Как поживаете?

— Да вот нос... все лупится.

— Как вы попали сюда? Как меня разыскали?

— Услыхал и приехал. Разыщешь, когда есть нечего: выгнали меня из кочегаров,— больше не надо,— ученые пошли...

— Найдем работу!..

И я устроил Григорьева машинистом при водокачке.

Он поселился в чистом маленьком домике. С ним поселилась его дочь Маруся, жгучая красавица со своими из черного брильянта глазами. Поселился и ее муж, молодой красивый кузнец.

Проезжая, я иногда видел ее на пороге с ребенком на руках и вспоминал празднованье рожденья. Тогда я мечтал: может быть, в жизни я встречусь и женюсь на ней. Потом я смеялся, вспоминая свои юношеские мечты.

А теперь я жалел и завидовал счастливцу-кузнецу.

1903

СОДЕРЖАНИЕ

МАССОВАЯ СЕРИЯ

Редактор К. Малышева

Художник А. В. Николаев

Техн. редактор Л. Сутина

Корректор В. Брагина

Сдано в набор 22/XI 1954 г.
Подписано в печать 17/I-55 г. А00419.
Бум. 84 $\times$ $108^{1}/_{32}$. 11 печ. л. = 9 усл.
печ. л., 8,96 уч.-изд. л. Тираж 300 000.
Заказ № 2007. Цена 1 р. 80 к.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности. Первая Образцовая
типография имени А. А. Жданова.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

1 р. 80 к.

ГОСЛИТИЗДАТ
1955